

# БОР. ПИЛЬНЯК

## СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

II

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1880

1880



1880

# БОРИС ПИЛЬНЯК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

★

ТОМ

**VI**

---

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

# БОРИС ПИЛЬНЯК

БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ

★



---

МОСКВА

1929

ЛЕНИНГРАД

О П Е Ч А Т А Н О  
в 1-й Образцовой типографии  
Глос. Москва, Пятницкая, 71.  
Глосл. А-31924. X. 20. Глос 27392.  
Заказ 1999. Тираж 5000 экз.

---

«SPERANZA»

---

---

**П**о морям и океанам, под Южным Крестом и Полярной звездой, в тропиках и у вечных льдов — идут корабли. По морям и океанам — идут бури, ночи, дни, месяцы, годы. Море же — это две чаши одна над другой: чаша неба и чаша воды, да с неделю от берега и за неделю до него — чайки и точкою в небе кондор. И на кубрике, у кормы на кораблях, живут возчики кораблей — матросы. В Сидни с шерстью, в Кардифе с углем, в Бенгуэле с каучуком, в Порт-Петербурге с лесом и пенькой — грузятся корабли, чтобы итти, нести грузы — на острова Зеленого мыса, в Марсель, в Сайгон, Сан-Франциско, Буэнос-Айрес, Суэцами, Панамскими каналами, Индийскими, Великими, Атлантическими океанами. Так корабли ходят десятки лет, неделями и месяцами в море, и матросы говорят о себе и друг о друге:

— Я (или он) пошел на берег, — он на берегу, — и кажется, что борт корабельный стал им их землей, точно борт корабельный может быть землей; но матросы же знают, что в бурю, когда ветер, посинев, рвет ванты и людей, когда волны идут через фальш-борты и бьют до спардэка, — когда корабль мечется в волнах овощиною в кипятке, — тогда надо смотреть на горизонт, ибо только он неподвижен и тверд, как земля, и плохо тому, у кого закачается в глазах горизонт, единственное некачающееся, — тогда его стошнит в морской болезни,

нехорошей, мутной, собачьей тошнотой. И матросы не любят говорить о море, о морских своих путях, — потому ли только, что это их будни? — и матросы всегда даль-  
нозорки!

И на кубрике, в бесконечные океанские вечера, после вахты и перед вахтой, в грандиозности морского одиночества матросы говорят — о земле, о той земле, какую они видели, и о том, что видели они на ней. Кроме моря, матросы видели порты всего мира, портовые кабаки, портовые публичные дома, портовую нищету, шум, крик и гам всего мира, — и матросы знают, что земной шар — даже не шар, а шаришко и очень тесный шаришко, так, что он не может испить всю морскую воду, соленую, как слезы. Кроме морей, матросы видели и все человеческие породы, и черные, и желтые, и красные, и белые, и все человеческие веры и манеры жить, — матросы видели, как люди молятся и Чурбанам, и Будде, и Христу, и Магомету, и Солнцу, и Конго, как люди ходят и в ивнинг-дрессах, и в юбках мужчины, и голые, с повязкой на чреслах и без повязки на них, как люди украшаются и пудрой, и кольцами в носу, и зубами, выкрашенными в черное, — матросы помнили, как всюду бьют людей, — и матросы знают, что ничему в мире верить нельзя, все в мире течет и проходит. Матросы не знали никакой иной любви, кроме портовой, — и прекраснейшее в мире — любовь — у матросов была смрадна — негритянская, индейская, китайская любовь, — как смраден портовый публичный дом в шуме, гаме и ночных красных фонарях. И на кубрике, — и в экваториальные ночи, когда кажется, что Южный Крест цепляет за мачты, и в ночи под Полярной звездой на кладбище европейских вод, — матросы вспоминают землю, ту, что «на берегу». Но матросы, как все люди, еще и мечтают: о прекрасной жизни; их мечты строятся на безверии; их мечты строятся над черными,

желтыми, красными и белыми человеческими породами и любовями; их мечты строятся над всем миром. — А на кубрике, полярною ночью и ночью экваториальной, ночами в бури и штили — темная круглая безбрежность за бортом, чаша неба и чаша воды, колышется вода сотнями метров зеленоватой мутной холодной глубины, слиты края чаш в безбрежности и — если штиль — горят, горят на небесной корке — звезды, и ясно тогда, что эта небесная твердь расшита в гареме азиатского деспота, ибо кому иначе понадобилась бы такая нечеловечески-трудная красота? — не матросам же! — А корабль с редкими двумя-тремя огнями черен в этой безбрежности, безмолвен, пуст, — и только на корме торчат скорченные, черные тени матросов, в их бесконечных разговорах. И падают иной раз с неба звезды. — Так корабли идут по океанам из Буэнос-Айреса в Кардиф, из Гавра в Спигатур и во многие-многие иные места. — Тесен мир.

И — ночь.

Имя кораблю — грузовому, семитысячетонному, чуть-чуть пиратскому для глаза постороннего (как все грузовые корабли, сохранившие в своих обычаях столетия рабских корабельных правил о мордобое стюарда и капитана, расчетов в каждом порте, аглицких морских законов, от тех седых времен, когда корабль ходил под парусом и с пушкой) — имя кораблю: — «Speranza», что ли.

И ночь. Грузные груды волн ворочает море, тяжелые, такие, когда водяная муть кажется не водою, а гутаперчью, нет горизонтов, — там мрак и муть, и небо закутано мутью и мраком. Черен корабль, на нем нет огней; только на капитанском мостике у компаса, под колпаком над компасом электрическая лампа, да синий и красный огни на боках спардека; на капитанском мостике у компаса штурман в бушлате, у руля — вахтенный, — им двоим не спать. На сотни метров вниз, на тысячи километ-

ров во все стороны, на квадрильоны километров ввысь — безбрежность; глухо качается корабль в волнах; только штурман знает путь; и гудит, плачет ребенком ветер в вантах. И мрак, замер корабль на ночь, только на юте за ларем запасного рудя на канатах скорчились три тени матросов, чья вахта ночью, — француз, англичанин и эстонец, — спит в рубке у спардэка радио-телеграфист — — Нынче утром китаец-кочегар пел на носу странные свои песни, одетый, как всегда, в кусок синей тряпки, чуть-чуть прикрывавшей его плечи и живот; потом он долго курил опий; — потом он переоделся в праздничный свой европейский костюм и сытно обедал перед вахтой; а когда пробили склянку, он заявил матросам и капитану, что он, рабочий, честно работал всю жизнь и теперь не хочет идти к котлам, не хочет работать, он устал, — и он, в европейском своем костюме, раскосоглазый, бросился со спардэка в море, когда капитан хотел его побить, — он прыгнул очень поспешно, убегая от капитана, нырнул, как хорошие пловцы головою вниз, и больше уже не выплывал из воды — —

Ночь. Вот муть и мрак рассеиваются в небе и возникает страшное безлюдье небес, падающих звездами, холодными и колкими, как иней. Ветер, который стал вольней и серей, гудит в антеннах, — но радио-телеграфист спит у себя в рубке, — мирным сном. — А, если бы он хотел, он мог бы узнать миллионы разных вещей, о том, где идут и как идут корабли, какой миллиардер, американский под-король стали, плывущий из Сан-Франциско в Токио, беспокоится о курсе франка и счел радио-аппарат не очень нескромным для приказа о корзине цветов, — о том, как шахтеры в Англии отстаивают свое право жить, — как политиканствуют политики, как хозяева земного шара, живущие под Нью-Йорком, под Парижем, под Лондоном, в Ницце и на Панамском канале, хотят

уничтожить хозяев новой веры в мире, засевших в России в Московском кремле, где на азиатской башне часы отбивают Интернационалом, в азиатской части города, — — впрочем, о России телеграфист знал столько же, сколько он знал, положим, о Китае, о том китаец, что бросился сегодня в море, чтобы умереть. Но телеграфист спит, этот, научившийся подслушивать неслышимое в мире. И главное и значимо то, что есть в мире такое, что не может человек воспринять просто, что улавливает он тончайшими аппаратами, что окутывает, закутывает человека, огромная сила, которую человек не знает, но которая над ним, в нем, вокруг него, — и сколько есть еще сил, не познанных человеком? — и что человек знает твердо? — ведь утро придет огромным огненным шаром из воды и день уйдет этим шаром в воду, — и те, кто плавал здесь сотни лет назад, нибелунги, бритты и испанцы, обросшие легендами, как волны в бурю обрастают седой пеной, — они не знали этой беззвучной ловитвы неслышимого в мире, хоть те же дельфины и чайки сопровождали их по морям — ужели они знали такое, что не знаем мы? — — Но вот гудят антенны уже не в ветре, плачет приемник в радио-будке, и сонный телеграфист принимает радио о том, что где-то какая-то новая возникает революция, закрываются, загораживаются минами и пушками порты и морские безбрежности...

На кубрике, у запасного рулевого ларя, на канатах лежат и курят, спички зажигают о палубу, бельгийские спички, такие, что, если с горя ударит матрос о палубу коробком, вспыхивает весь коробок. Трубки матросов так же корявы, как их пальцы в стружьях мозолей и ран от морской воды. Шумит вода за кормой, и огни трубок, зола на ветре, летят хвостом кометы в море, освещая руки; матросы тесно сидят, сокрывшись от ветра. Нос и корпус корабля ушли во мрак. Эстонец-боцман

сумрачен и тих, тихий человек, мечтатель, саженный ростом.

— Ты вышел, что ли, боцман?

— Нет, я не шил...

— В Бомбее есть гора и на горе пропасть, и там они хоронят. Лысая гора, ничего на ней не растет. Приносят человека и кладут на камень. А над горою вьются ястреба, — они у них священные. Так эти ястреба съедают мертвецов в пять минут, одни кости остаются. Тогда ихний поп сталкивает кости в пропасть. Сколько тысяч лет так хоронят и все засыпать пропасти не могут, — я глядел в эту пропасть — дна не видать. И хоронят там только богатых... Мы ходили туда с дункманом, полиция нас ничего, — не тронула... А теплынь там какая, голому жарко, так и ходят. А акулы прямо в порт заходят, их тамошние мальчишки, мерзавцы, за шиллинг в воде режут... А солнце... А бабы — дуры, белых очень любят и прямо без денег...

— А как англичане — сволочи, байстрюки их заставляют работать, даже, значит, баб. Работают, значит, грузят двенадцать часов подряд и полчаса на обед, на бананы, значит. Они голые таскают тюки с кофеем или чаем, пот валит, — а англичанин в огуречном шлеме и с резиновым жгутом, — и — чтобы бегали с тюками по сходням рысцой с бананов, и молча чтоб, — а если зазеваешь или слово — сейчас резиновым жгутом вдоль спины, значит. Мы было собрались им помочь, — так нас, значит, прямым манером в береговую контору на божий суд, — и мы, значит, испробовали резиновых жгутов, выходит не сладко... А бабы — ничего, после работы тут же вымоются в море, поедят бананов и манят нас к себе в соломенные, значит, шалаши, с мамашей познакомят... А англичане так и живут отдельными поселками, со стражей, и к ним туда без пропуска

не попадешь... И платят англичане бабам — шиллинг в день...

Ветер сеет огоньки трубок — за борт, в море, во мрак. Ветер щупает людей, их отрешье. Свежо. На капитанском мостике, где у компаса, следя за курсом и за узлами, склонился штурман, склянки отбивают время, полночь. И груди волн трут корабельный борт, в стремлении всегдашнем ворваться за него, чтоб побежать по трюмам, чтоб разломать и смыть перегородки, каюты, склады, — чтоб корабль замотался на волнах в предсмертной томе, чтоб забегали по палубам остервеневшие, обезумевшие люди и — чтоб корабль сначала медленно, кормой иль носом, стал грузиться не грузом, а собой под воду, в зеленую враждующую муть, — сначала медленно, потом поспешно, — чтоб потом — там под водой, в темнеющей ко дну мути, ему, кораблю, валиться эллипсами в муть ко дну, оставив над водой на несколько минут воронку пены, потом — спасательный кружок, осколки лодки и трех людей, раскиданных волнами на километр друг от друга, — а кроме них — безбрежность океана и чашу неба, ставшую над ним...

Боцман говорит вслух своим мыслям:

— А в России теперь живут без денег, и правят рабские —

Потом матросы с юта идут спать, в трюм. Француз — третий стювард, которому судьба предложила прислуживать у стола механиков, юноша, идет на нос, в «рум», где на подвесных кроватях спят ирландец — второй стювард, негр-кок и помощник повара — еврейский мальчик из Яффы, кроме мытья посуды, выполнявший обязанности женщин для чиф-стюварда — — Матросский запах и запах матросских кают — он крепко, навсегда пропах солью, потом, варом и рыбой и — морем, невеселый запах, едкий, такой, в котором вся матросская жизнь, в соленой



морской воде, в поте, на соленой рыбе, которую повар крепко снастит перцем, чтоб не воняла, когда гниет — — В ноз-рум было темно, француз влез в свою койку, скипидарный запах был ему привычен, больно укусила блоха, константинопольская, потомок тех, которых король набрал, когда перевозил людей, как скот, из Ялты в Константинополь. Кок-негр много уже лет ходил по морям на кораблях, развешивая по утрам овес для порича, бекон, варенье из апельсиновых корок, у него давно атрофировалось понятие свежего, тухлого, соленого, сладкого и горького, — он лежал на нижней койке, под французом, и француз безразлично слушал, как рыгает негр, как бесповоротно навсегда испорчен желудок кока, точно желудок подступал к самому горлу и выворачивался в рыготе в рот, в смраде несваренного мяса. — Но кок мирно спал, спали и остальные перед новой пустыней дня, выкинувшей здоровых людей чужой волей — в пустыню вод. И третий стюард тоже скоро заснул; перед сном он немного думал о той случайной фразе, которую кинул боцман, — о России, как часто и много думали об этой стране матросы, — он никогда не был в этой стране и очень мало знал о ней, он знал, что там много лесов и полей, что она огромна и очень богата; те русские, что приезжали в Париж, умели сорить миллионы франков, — но это ему было неважно, — он думал о том, что в этой неизвестной стране рабочие стали правителями своей жизни, — и о том, как там, должно быть, хорошо жить и трудиться, в стране братьев, — и он старался представить себе — как там х о р о ш о... Потом он заснул, в хороших мыслях о прекрасной жизни — — А на кубрике боцман вспоминал свою Псковскую губернию, свой хутор и зимнюю снежную — бесконечнозвездную — ночь, и мамыны сказки, и корявого отца, сплавщика по Волхову, — он, боцман, сам уже за пол-

день своей жизни, семнадцать лет не был на родине, не знал ничего о своих, — живы ли? — он не думал о том, что его Эстляндская губерния стала государством, — но он знал, что это последний его рейс по морям, он гордился тем красным паспортом, что Шварц выдал ему в Лондоне, — пусть этот паспорт ничего, кроме горя, не несет во всех странах, кроме России! — — он знал, что он едет домой и там — д о м а — он проедет в Москву, в Московский кремль, где не был никогда в жизни, и там поселится со своими братьями. И Московский кремль ему казался такими же прекрасным, как мамыны сказки и как ласка корявой в мозолях руки отца — —

А над морем и кораблем шла, проходила ночь; и красное, огромное — такое огромное, какое бывает только на морях, — встает из воды солнце, красит красным свинцовые губы волн, и волны зеленеют за бортом, чтоб удобнее было плескаться в них — дельфинам. — Тогда вахтенный будит команду, толкая в бок и обращаясь по-английски:

— Джентльмены!

И под красными лучами солнца корабль очень похож на пиратское судно. Это совсем не верно, что самое чистое место в мире — палуба корабля; краска давно сползла и лезет ржа; сажа и угольная пыль крепко въелись во все; канаты много потрудились, и много на них вылитое дегтя. День уже, и видно, как на капитанском мостике стоит помощник капитана, в растерзанной форменной куртке, с волосатой грудью наружу, такой меднорожий и оплывший, что рожа просит кирпича, с трубкой в зубах, — такой покойный, что, даже колотя матроса боксом, он не вынимает трубки изо рта, — и он с утра уже недоволен, он кричит с мостика так громко, что это, должно быть, слышно за несколько узлов, крича, он ругается на всех языках мира и больше всего по-русски, ибо русская

ругань, крепчайшая в мире, стала национальной на всех портовых языках. Матросы с корытцами вроде тех, в которых кормят свинят, идут чередой за брэк-фестом на кухню, где пахнет перцем и очень жарко; из этих корытцев матросы будут есть; матросы идут не спеша, оборванцы всего мира: босые, в опорках, в резиновых сапогах, в брюках из мешков и просто в шерстяных подштанниках, гологрудые, с засученными рукавами, в кепках, в кожаных картузах, в соломенных шляпах, — во всяческом отрепье, которое им оставили порты и не истлило море... Впрочем, в порту, на берегу, где они получают за весь рейс сразу, они наряжаются франтами — —

И в кухне от стюарда и от вахтенного с мостика команда узнает, что курс изменен кораблем, что офицеры получили радио о революции где-то там. Где эта революция — на кубрике никто не знает: и каждый знает поэтому, что революция на его прекрасной родине — на его прекрасной родине его братья льют кровь за прекрасное будущее. И на кубрике праздник, на кубрике толпятся в возбуждении матросы: — где-то там — революция! Боцман, уже старик, в широкополейшей шляпе, в резиновых сапогах, в синей рабочей блузе, — он только что собрался закурить свою трубку, — бьет коробкой спичек по стальной палубе, коробка вспыхивает дымом и огнем, и боцман идет по палубе в русскую присядку под хлопанье ладош других матросов. Швед, путая мотив, однажды слышанный в порт-Петрограде, поет Интернационал, и, так же путая мотив, на своих родных языках, ему хотят помочь ирландец и еврейский юноша из Яффы — — Тогда отборнейшей русской матершиной до гроба, на несколько узлов в море, орет с мостика помощник.

— Стеерва! байстрик! — кричит с нижней палубы чиф-стюард еврейскому юноше из Яффы, — кто будет мыть тарелки капитану?!

И когда мальчишка поднимается к нему по стальной лесенке у борта, грек-чиф бьет мальчишку кулаком по голове и шее.

А солнце уже высоко в небе. Голубая чаша прикрывает зеленую, как старинная бумага, чашу вод. Плещется вода о борт. И мелкой дрожью дрожит корабль, разрывая, сваливая, валя воду, крася ее сотнями красок, — в своем стремлении вперед, в безбрежность, измеряемую компасом, солнцем и звездами, ту, которой правит руль. Солнце же кладет на воду — не синий, а золотой ковер, и на этот ковер нельзя смотреть лишь простым глазом, — он хорошо разбираем в подзорную трубу. Пиратское, каботажное, горькое судно «Speranza», избродившее на своем веку многие Панамы, Сингапуры, Бомбеи, Буэнос-Айресы, Сидни, — режет и режет воду — —

Потом корабль приходит в порт, к берегу, к земле — — Там, в туманной мути вод первыми возникают огни маяков, мигающие огни, чтоб не быть категорическим контрастом болтающейся мути вод. На кубрике, на палубе матросы моются из шланг морской водой, моют кипятком отработанного пара свое белье, бреют друг друга, потому что на землю, «на берег» надо сойти чистым, потому что все мечтанья моряков — о земле, ибо, конечно, жизнь только на берегу — на земле — — Маяки уже близко, и тогда приходит пилот, первый человек с земли, он идет на капитанский мостик, — — тридцать дней морского перехода, тридцать дней пустыни вод, и бурь, и штилей, и закатов, и восходов — скинуты со счетов жизни каждого матроса.

И снова ночь. Корабль в порту.

Корабль стоит в квадратном каменном ковше, за шлюзами — чтоб не мешали отливы и приливы, — под краном. Кругом и рядом стоят десятки кораблей, нагруженные, ждущие прилива, стоящие на очередь ко крану. Ночью

не видны пыль и нищета. За мачтами, за кранами, за холмом земли, где город и веселье, в небе щуплый, в желтой дихорадке месяц. И ночью редки гуды кораблей. Корабль стоит у крана с выпотрошенным нутром, с развороченными в щепы палубами, с потухшими котлами и потому без единого огня в каютах и на палубах; впрочем, свет и не очень нужен, потому что на корабле нету никого и белыми шарами на берегу горят фонари.

Днем матросы ходили в береговую контору — перенаниваться, перекабалаться вновь на новый путь в моря; двоих скинул «с борта» капитан и взял двоих новых, — они одни на судне, ибо указано судьбой новой метле — коль не поистине, то хоть стараться — мести чисто.

Днем грузился корабль. Над ним, над палубами свисал скелет крана. По рельсам на земле к крану подходили поезда с углем, вагоны въезжали в кран на лифт и лифт поднимал вагоны над кораблем; там, как совок с овсом, кран вытряхивал из вагона уголь в желоба и в корабельный трюм по желобам: и, когда вагон вытряхивался углем в вышине, шел уже второй вагон, а первый по новым рельсам скатывался вниз; в трюмы с грохотом валился уголь, пылица шла чернейшей тучей — в сутки пыль садилась на палубы и ванты на дюйм, — в трюмах, уже лопатами и кирками, расталкивали уголь люди, голые и черные, чернее негров в мраке пыли; а поезда все шли и шли; и кран откусывал вагон за вагоном, чтоб пустые вагоны по новым рельсам гнать на копи за новым углем; над доками, над портом стояло солнце в тучах дыма, такое же дикое, как в Канаде и Сибири в летние лесные пожары — в дыму; над доками, над портом люди дышали углем, и уголь скрипел на зубах; над портом, в черной копоти — гремел летящий уголь, звенели цепи и буфера тысяч вагонов, скрежетали краны, скрипели лебедки на кораблях, гудели корабли, были sireны таможенных кате-

ров, — в порту, в доках было все, что может человек поставить против морских, лесных, степных, небесных и метельных стихий. — Потом, в пять часов, когда солнце пошло к западу, — прогудели новые гудки, последний раз взвыли краны, вдруг исеякли вагоны и замерли на рельсах, в кранах, в клетках над кораблями, вдруг потянул ветерок и колыхнул пелену пыли — к городу, на землю, — незаметные при машинах потянулись из порта толпы рабочих — тоже к городу, на землю — на отдых, к семье, к домашним своим заботам и помыслам — — тогда из-за машин, из копоти, из воды в доках — зеленой и мутной — выглянули нищета, тщета мирская, одиночество — —

Новые двое пришли на корабль после пяти, когда корабль был безмолвен, пуст, в пыли на дюйм, в горах угля, торчащих из трюмов наружу, со снастями, раскиданными всюду и как попало. Они впервые услышали об этом корабле сегодня в береговой конторе, как впервые занес их бог в этот порт в Англии, в Южном Уэльсе; один из них был русский, другой испанец. Их поместили в ноз-рум, где спал кок. Они разложили свои узелочки и тихо сидели на палубе у фальш-борта. Они видели, как на несколько минут приезжал капитан в двухместном автомобиле, с очень элегантною лэди, — капитан переоделся в ивнинг-дрэсс и уехал, последний раз автомобиль мелькнул у ворот доков, оттуда пошел в гору по дороге к Кардифу. Два матроса с кубрика, в пиджачных парах, с тросточками и в шляпах пошли на берег. Пьяный и весь в грязи вернулся с берега второй стюард. На спардэке запел песню вахтенный, — и песня оказалась русская, очень тоскливая и тихая; вновь пришедший крикнул от ноз-рума:

— Земляк, какой губернии?!

— Псковской, Ямбургского уезда! — А ты?

— А я, видишь, Новороссийский!.. Видишь, товарищ, сказал бы кому, чтобы поест дали, а то мы со вчерашнего дня не ели. Выходит голодно не жрамши...

Вахтенный в мэс-рум толкует со стювардом; стювард в крахмальной рубашке, в лаковых туфлях собирается на бал, куда-то в город, он спешит и он кричит сердито:

— Дайте этим байстрюкам, что осталось на кухне от матросов!

На досках, тех, коими закупоривают трюм, сваленных сейчас грудой, вновь пришедшие едят капусту, салат и гороховый суп с бараниной. Вахтенный сидит с ними, они толкуют о том, что на всех кораблях все стюварды — сволочь, рукоприкладцы и воры. Пыль села, садится. Уже вечереет, вспыхивают огни на фонарях; от воды, как на болотах, поднимается туман и холодеет, вода за бортом — неподвижна, зелена, — потом, когда совсем стемнеет, на небе станет дохлый месяц. Вновь пришедший русский очень разговорчив, вот его история:

— Все-таки на «Рюрик» очень били, я из-под ружья не выходил. Пришли, значить, все-таки, в Штогольм. Там мы с товарищем и убежали, говорят — ничего не поймешь, что бормочут, — ночь в лесу ночевали, пошли утром к порту, смотрим — стоит, а флаг уж поднят, — мы опять в лес... А жамкать охота — брюхо так и ходит, ну, решили — где хлеб жамкаем, тут и родина наша, как пролетарии... Обошли город, спрашиваем, нет ли где еврея, все-таки чтобы шкуру продать, и, значит, нашли на краю города, гомельский, обменял на пиджаки, и наши три рубля обменял на кроны; спасибо, хороший человек, спрятал нас у себя, а потом поставил на парусник с лесом, на сто пять дней в море, значить, в Австралию, в рабы, значить, без единого слова; сто и пять дней тросы вязали, с рук кожа слезла, — зато научились и по-шведски, и по-англицки, горьким опытом... Стал себя выдавать за шведа.

И исходил я весь свет, и выходит, куда не кинь — везде клин и кругом шепинадцать. Лучше всего жить рабочему классу в Австралии, там законы правильные и дают землю задаром, — я и там жил, женился, баба уместная, три года жил, стал сказываться что не швед я, все-таки, а русский, — а тут, значить, у нас, в России произошла революция, — и пошло с двух концов: англичане меня погнади к бабе в штаны, как, значить, русского, всех русских гнать стали, — а с другого конца я и сам домой захотел, нет терпения... Бросил бабу, англичанка она, владения бросил, стал на корабль, ехать домой, значить, — да не тут-то было: — четвертый год мотаюсь по морям и никак до дому не доеду, весь свет про Россию орет, а дороги к ней не найду, вроде как она провалилась под землю, — не вплавь же к ней плыть, значить... Все-таки теперь я советский; в Ливерпуле меня изловили англичане; паспорта, конечно, не про нас писаны, — благодетель говорит: — «паспорт вы, джентльмен, обязаны взять в царском посольстве»... «Так, говорю, — а какого же это царя посольство? Это, значить, врут, что Николай помер? — Мне говорю, все равно, какой паспорт брать, хоть японский, я трудящийся, только тогда ты, господин высокой, одолжи мне без отдачи два фунта семь шиллингов, потому как белые паспорта дают за деньги, а Шварц — советский — задаром да еще на работу ставит, да к тому же и байстрюк ты, высокой, потому сам трудящийся, а стоишь против рабочих, значить...» Ну, он мне боксом по шее, а я ему по-русски в зубы... Теперь я нигде на берегу жить не могу, только на воде... на основании англицкого закона.

Уже опешил вечер, судно потемнело, скрыло мраком свою нищету, в порту, над доками стало тихо, взшел в желтой лихорадке дыма месяц. Матросы съели цветную капусту. Вахтенный-боцман сказал тихо, огромный и тихий человек:

— А в России теперь живут без денег, и правят рабочие...

...В городе, за горой, над пляжем стоят карусели, тир, рестораны на колесах, в сторонке в каменном доме музик-холл, на углах публик-хаузы, где стоя пьют пиво, виски и джин. Огни реклам — сначала лиловые, потом голубые, потом синие, потом красные — сначала сыпятся каскадом, потом каскад сворачивается в метельную воронку, потом огни воронки взрываются, как бомба, и из бомбы поднимают женские панталоны с указанием фирмы, где можно купить лучшие в мире шерстяные панталоны, — потом, вслед за панталонами, возникает новая патентованная бритва, тоже лучшая в мире. Под каруселями, у тира и — придушенная — из музик-холла гремит музыка. Под каруселями, у тира, у прилавков публик-хаузов тискаются матросы, в шляпах, со стэками в руках, в крахмалах с чужой шен. Над улицами, над площадью — темное небо; которое там за пляжем сливается с морской мглой —

Матросы со «Speranza» — четверо — франты — много пенсов оставили в публик-хаузе за стаут, сидели в музик-холле, отдыхая, куря и хохоча. Потом они пытались счастье в тире, и один выиграл женский берет. Они заходили в японский магазин, где любую вещь можно купить за шесть пенсов. В прилив они купались в море, на пляже, как и все, в купальных костюмах, чтобы посмотреть на голых женщин. В сумерки они заходили в лавочку к старьевщику — еврею, продавали ему кокаин и опий, который сами купили в Сингапуре. Они были счастливы тем, что ходят по твердой земле, по берегу, как все остальное человечество, — как все остальное человечество, они смотрели на женщин, которых на кораблях нет, пили виски и стаут и платили за них собственными шиллингами, читали «Дейли Хэралд» и купили на артельные деньги писемовник, точно у них будет досуг и смысл писать

любовные письма женщинам и деловые, с приглашением на фэйф-о-клок, джентльменам, живущим на берегу. К вечеру они были пьяны. А когда над морем и миром стада луна, похожая на китайца, — по грязной улице на окраине матросы шли в притон; на улице было пустошно, ставни были плотно прикрыты, изредка слышалась скрипка; у одного домика, на луне, на пороге сидела негритянка и говорила чуть слышно по-английски:

— Плиз...

Матросы вошли в домик, в котором один из них был пять лет назад. Там было по-старому, хоть ему и было немного обидно, что его никто не помнит здесь, как он был неимоверно пьян и сорил шиллингами: он очень хорошо это помнил, и хозяйка была та же, и он сказал завсегда:

— Пожалуйста, к нам потанцовать мисс Франсис...

Но Франсис здесь уже не было, и через час матросы, рассованные по закутам, лежали с женщинами, которых видели первый и, должно быть, последний раз на земле, которым здесь, в припадке нежности, страсти и лютого одиночества, они сыпали все, что накопилось, о Бомбее, о стюварде, о кокаине, о революциях, о России, о родине и матерях... Девушки были очень покойны, как все проститутки в мире, шиллинги прятали в чулок — Тот, который спрашивал о мисс Франсис, который мечтал о ней все море, как о прекраснейшей, не пошел ни к одной девушке, он сидел в танц-зале, пил стаут, ожидая товарищей. Товарищи вернулись, в сущности, скоро, потому что была очередь. Тогда они снова потащились по улице; у порога попрежнему сидела негритянка, и она опять прошептала:

— Плиз...

Тот, который не нашел мисс Франсис, остановился против нее, его тень от луны упала на колено негритянки:

негрятинка улыбнулась белками, и из-за мяса губ полезли белые лопатки зубов. Матрос сказал:

— Идем, товарищи!.. с горя...

Город англичан уже спал, и спал порт.

...На корабле темно и безмолвно. Только в мэс-рум горит лампа, да скользнет иной раз по палубе огонек электрического фонарика, да качается огонь на мачте. На спардеке — вахтенный, и вахтенному издалека слышны четкие по камню и железу шаги идущих на ногах и шорох и сопение ползком возвращающихся на борт. Вахтенный спокойно слушает, как за бортом о борт толкнулась лодка и как стювард и мальчик из Яффы, в ночных туфлях, таскают мягкие тюки; со спардека видно, как на веревке тюки спускаются за борт, там кто-то бесшумно их перенимает, и вновь бежит стювард в мэс-рум: — это контрабандисты, это контрабандистам продал стювард что-то, привезенное из Азии... Стювард — в крахмальной рубашке, в брюках от смокинга, в лаковых туфлях, но смокинг он снял, черное его лицо — грека — сосредоточенно и бодро... Вспыхнула масленка в кухне, — кто-то пришел за пресной водой. На свет вышел стювард, посмотрел подозрительно, сказал:

— Что здесь шляется? Надо спать.

Матрос обляял стюварда по-матерному — по-русски, — и добавил:

— Генри очень болен, лежит с утра, тошнит.

Из мрака появились еще двое, стали у дверей. С кубрика, держась за стены, качаясь, притащился Генри, вслед за ним боцман. У Генри запеклись губы и лицо было землисто, как у мулата. Генри прошептал:

— Где стювард?

Стювард ответил не сразу. В кухне с дверями на оба борта, с огромной плитой и колпаком над ней, с ведрами и кастрюлями по стенам, — на столе чадила масленка;

дверь на палубу была открыта, и там виднелись канаты и решетки бортов; лица людей были плохо различимы; на столе около масленки лежала соленая рыба на утро.

Генри повторил:

— Где Стювард?

Стювард сказал:

— Я здесь.

На лице Генри и в голосе его появились надежда и умоление, жалкие, всегда унижительные для человека. Он зашептал торопливо:

— Мне бы кусочек лимона... Очень мутит меня... Мне бы лимона... Я совсем нездоров!.. Мне кусочек...

— Нету лимона.

— Врешь, стювард, ведь покупал для моря, — сказал кок от дверей.

— Нету лимона! Генри пьяница.

— Дай лимона! Мы бы без тебя смотались в порт, да заперто...

— Нету лимона! — Стювард руку положил в карман, где револьвер.

Генри стоял у стены, и не сразу заметили, что он пополз по стене вниз, упал на пол, и заметили лишь, когда он захрипел; тогда увидели, что изо рта у него ползет желтая пена и руки мучаются в судороге. Тот, что пришел за водой, вылил на Генри ведро воды. Матросы положили Генри на стол, где лежала рыба. Генри притих и застонал. Кто-то пошутил:

— Брось, Генри, а то еще умрешь, — придется тогда пить тебе мешок да в море рыбам...

Другой рассказал к случаю:

— Во всемирную войну я на транспорте перевозил цветные войска из Индии и Австралии, здоровенные ребята, — а как выйдем в море, и качки нет никакой, а онидохнут, как мухи. Я приставлен был к покойникам, мешки

шить, — в одну ночь двадцать два мешка ешил, сошьешь мешок, в него покойника, дырку тоже зашьешь — и в воду акулам на ленч...

Масленка чадила мирно. Стюард жевал чунгом. Генри приподнял голову, осмотрелся, сказал:

— Нету лимона! — Тогда пожалуйста, термометр...

Термометр нашелся не скоро и, когда нашелся, его вставили Генри в рот, под язык. Стюард, заложив чунгом за щеку, с масленкой в руке, отворачивал веки Генри и заглядывал внимательно, точно что-то понимая, в нехорошую, большую глубь глаз Генри. Потом, толкаясь в темноте, за руки и за ноги матросы потащили Генри на кубрик. Стюард остался в кухне, сел к столу около рыбы и масленки, широколобую свою, черную голову положил на ладонь, задумался, жевал чунгом, эту бесконечную жвачку моряков. В нос-рум вновь пришедшие на корабль устроились спать, обживали новое место, слушали, как рыгает кок, привыкали к константинопольским блохам. Было темно и душно. Они видели, что мальчик-поваренок долго рылся в своем углу, переодевался и потом тихо ушел из каюты; они не видели, что мальчик осторожно пробирался по палубе к рубке, — если б осветить неожиданно лицо мальчика электрическим фонариком, то можно было бы увидеть, что оно полно боли и страдания; мальчик прошел в рубку, там, через внутреннюю дверь в кухню, он прошептал:

— Я здесь, стюард...

Стюард оторвался от своих мыслей, от чунгома, черная голова поднялась от огня, он взглянул в темный угол мечтательно и нежно. Свет в кухне погас.

Все огни потухли на корабле, корабль уснул. Только на капитанском мостике стоял вахтенный. Но и он скоро уснул, стоя. В порте пересвистывались сторожа, гигантский корабль разводил пары, шипел, чтоб уйти из доков

с рассветным приливом. Месяц уже скрылся, и было очень темно, как должно быть пред рассветом.

А в шесть часов, когда уже рассвело, вновь загудели гудки, пришли рабочие, пошли, полезли в краны поезда, черными столбами повалила каменноугольная пыль, застилая солнце, разъедавая все, заплескалась по палубам вода из шланг. Настал день. Генри умер утром.

...И снова корабль, семитысячетонный, грузовой, однотрубный, выкрашенный в серую краску, нагруженный по фальш-борты углем, — идет в море. Он проходит Пад-Калэ, Ламанш, идет в Северное море — колыбелью европейской культуры, колыбелью мореплавателей, где норманны и бритты пошли впервые строить европейское благополучие и мир. И Немецкое море — к вечеру — встретило «Speranz'u» штормом.

На корме, застыя от ветра, стоят матросы. Один говорит:

— Вот на этом месте, где мы проходим сейчас, немецкие субмарины в великую войну плескались, как щуки. На каждую милю приходится три погибших судна. Кладбище корабельное. Можно было бы построить целую страну... Губили друг друга и немцы, и англичане, и французы...

Вечер. И вода, и небо, и ветер — как свинец. Вода хлещет за фальш-борты, зеленая, тяжелая, злая. Седая пустыня кругом. И совершенно ясно, как над этими просторами шла, шлялась смерть, и совершенно ясно, что европейское человечество, оставившее истории средневековье, совсем — совсем не совсем — не изжило его, оно водой, как кровь, кровью, как вода, и страшным одиночеством пиратствует на морях. Матросы очень хорошо знают, страшно знают, как много могил на — даже на морях!.. И эти могилы — не застыт ли они подлинную жизнь — многими своими жутями, одиноко-человеческими

и промозглыми —? — и не она ли — эта жуть — страшит дисциплиной аглицкого морского устава и тем, что матросы, говоря «мы идем на берег», подчеркивают водяной их дом, — но о море не говорят, потому что оно им слишком буденно — —? И сиротливо, должно быть, смотреть на Большую Медведицу, которую боцман видел из своей Псковской губернии и которую бритты и норманны видели семьсот лет назад —? — И вода, и небо, и ветер — как свинец. И корабль — скорлупкой в них. Пустыня кругом — пустыня вод, великое кладбище... Над горизонтом красная щель, в эту щель уходит солнце, красное и огромное, не круглое, а как сплюснутый мяч, — и от него по свинцам волн течет кровь. Мимо проходит трехмачтовый парусник, на всех парусах, точно такой же, какие ходили здесь триста, пятьсот лет назад...

И ночью — буря. Небо звездно, в небе Большая Медведица и Полярная звезда, но под небом все сошло с ума. Домищи волн лезут на корабль, певаются, гремят, ревут ветром, бьют через борты, влезают на нос и корму, друг на друга, на небо, — ветер рвет пену, и она тысячей плант несется над водой, над кораблем, к звездам. Мрак черен. Ветер, как сумасшедший в сумасшедшем доме перед своей идеей, в нее упершись, дует, плюет остервенело, в одну точку, точно хочет сдуть корабль к чорту. Весь корабль завинчен, заклепан, завязан. Корабль, как щенок в менингите, обалдевшим щенком мечется, то визжа винтом и в воздухе и ныряя носом, то вставая на задние лапы, то валясь на бок. — И, конечно, тут, в бурю, в страдания, у корабля, возникает: д у ш а, злая душа, враждебная человеку, ибо весь корабль, дрожащий, мечущийся, злой — кажкой своей стальной частью — сталкивается с морем, с морским чортом, чтоб выкинуть, отдать морю людей, скинуть их с себя — их и их вещи; по кораблю нельзя ходить, можно только ползать, держась за тросы, вместе

с тросами взлетая над водой, вместе с тросами исчезая в воду... На палубе под спардэком волны отвязали бочку с сельдью, бочка пляшет, вертится волчком в зеленой пене на палубе, в суматошной воде; над палубой, над мутью волн шарит зеленый свет прожектора; помощник капитана в рупор кричит на кубрик, и трое бегут с арканами — ловить ожившую бочку; бочка пляшет, как пьяный швед; матросы крепят конец каната и с другим концом идут на палубу к веселью волн и бочки, вода летит над головами, и бочка бегаёт от матросов, толкаясь у фальш-бортов, в холодном свете от прожектора... Мрак, черный мрак над кораблем, прожектор шарит сиротливо. Кто вспомнит о плавающих по морям? — Капитан склонен над компасом: — Северное море — бурное море, много гибнет на нем кораблей, — кладбище. Помощник капитана, в коже с ног до головы, с рупором в руках, с биноклем на шее, ползает по капитанскому мостику, — гремят волны, свистит в тросах и мачтах ветер, шипит, лает, орет все, — и к вою бури — над ней гремит — матершина помощника капитана, грандиозная матершина, в бога и в гроб. — Кто вспомнит о плавающих по морям — —? По палубам, по железным лестницам, на носу, на корме, в обзорной бочке давно измокшие до нитки, без сна, продрогшие, строгие и спокойные до предела — ибо иначе смерть! — матросы — Кто вспомнит о плавающих по морям? — — Кубрик закупорен наглухо, двери и люки завинчены. В кубрике, где все четыре стены то-и-дело становятся полом, где все завинчено, кроме людей на подвесных кроватях — двое, курят трубки.

— И ты пойми только, значить, без денег... Значить, такие склады, продкомы то есть...

По морям и океанам, под Южным Крестом и Полярной звездой, в тропиках и у вечных льдов — идут корабли.



По морям и океанам — идут бури, ночи, дни, месяцы, годы. Море же — это две чаши: одна над другой чаша неба и чаша воды, да с неделю от берега и за неделю до него — чайки и точкою в небе кондор. И на кубрике, у кормы на кораблях, живут возчики кораблей — матросы. В Сидни с шерстью, в Кардифе с углем, в Бенгуэле с каучуком, в порт-Петербурге с лесом и пенькой — грузятся корабли, чтоб итти, нести грузы — на Острова Зеленого Мыса, в Марсель, в Сайгон, Сан-Франциско, Буэнос-Айрес, Суэцами, Панамскими каналами, Индийскими, Великими, Атлантическими океанами. Так корабли ходят десятки лет, неделями и месяцами в море, — и матросы говорят о себе и друг о друге:

— Я (или он) пошел на берег, — он на берегу, — и кажется, что борт корабельный стал им их землей, точно борт корабельный может быть землей; но матросы же знают, что в бурю, когда ветер, посинев, рвет ванты и людей, когда волны идут через фальш-борты и бьют до спардека, — когда корабль мечется в волнах овоцинкою в кипятке, — тогда надо смотреть на горизонт, ибо только он неподвижен и тверд, как земля, и плохо тому, у кого закачается в глазах горизонт, единственное некачающееся, — тогда его стошнит в морской болезни нехорошей, мутной, собачьей тошнотой. И матросы не любят говорить о море, о морских своих путях и делах, — потому ли только, что это их будни? — «Speranza» — это значит: — Надежда, — и символ надежды: — якорь, тот, которым матросы в морских безбрежностях цепляются за единственную землю — за донья морей. — Матросы всегда дальнорьки.

Коломна.

Никола-на-Пссадьях.

Сентябрь 1923.

---

## РАССКАЗ О КЛЮЧАХ И ГЛИНЕ

---

...Это арабская песня:

Мастер, осторожней касайся глины,—  
когда ты летишь из нее сосуд, —  
быть может, эта глина есть прах возлюбленной,  
любимой когда-то:  
так осторожней касайся глины своими теперешними  
руками.—

**В** ПАЛЕСТИНЕ, в Сирии, на берегу Средиземного моря совершенно особенно, как нигде в мире, гребут арабы. Их восемь человек, они в чалмах, они в широчайших шароварах, раздувающихся на ветру, они босоноги, и только подошвы их охраняются от жара земли библейскими сандалиями, привязанными к ноге ремнями. Их ноги загорели так же, как лица и руки. Арабы красивы, сильны, гибки, похожи на птиц. На корме каика, там, где на коврах сидят европейцы, раскинут над головами европейцев белый шатер, — но арабы под солнцем. У каждого араба по одному веслу: каик громоздок, широкобортен, похожий на шаланду; — и восемь арабов, все сразу, закидывая весла в воду, взлетают на одной ноге над банкой; другую ногу они сгибают в колене, шаровары их раздуваются ветром, шаланду качают зеленые волны, вместе с шаландой и ветром качаются арабы; тяжестью своих тел арабы выгребают весла, — той ногой, которая была в воздухе, они опираются о борт шаланды, оттал-

квиваются ею и вновь взлетают на воздух, над банкой, над волнами. И, взлетая в воздух, красавцы, похожие на птиц, все сразу они — нет, не поют, а вскрикивают на своем гортанном языке совсем так же, как птицы, разбуженные в ночи:

Мы мужчины, молодцы! Мы мужчины, молодцы!  
Боже мой, путь еще не кончен! — путь еще далек! —

это вскрикивают они к тому, чтобы ободрить свой труд в зное и море, в бирюзе волн, — это вскрикивают они потому, что поистине «путь еще не кончен»: — потому что они же поют — в пустыне, в ночи, под пальмами и звездами, отдыхая около своих белых мазанок, или около верблюда, или около оаза — поют о мастере, который должен быть осторожен с глиной, ибо и глина есть память любви и лет — —

## I

В порт-Одесса у Потемкинского мола стоял пароход под флагом Союза социалистических республик, под полными парами, готовый отшвартоваться, чтобы идти в море. Утром боцман с подвахтой умывали судно, — из шланг на палубы выливались сотни ведер воды, судно чистилось и скреблось, — и, умытое, готово было блестеть, если бы было солнце. Но солнца не было, были последние дни октября, моросил дождь, и вода за бортом болталась серенькая, как серенький в море ожидался туман. В полдень стали грузить переселенцев. Лебедка в трюме сваливала чемоданы, корзины, тюки, матрацы, комоды, корыта. Люди растекались по палубам со всем тем человеческим добром и отребьем, которое можно повезти с собой, с перинами, с постелями, с лукошками, — кто-то нес граммофон, кто-то поставил под вельбот корзину

с двумя гусями. Это были палубные пассажиры, их было пятьсот человек, — это были евреи, едущие в Палестину, на родину, где не были две тысячи лет. На палубе, в проходах, под шлюпками, около труб (пароход был двухтрубным, громадина), в трюме для третьего класса наваливались горы вещей так, как валятся вещи, вытащенные в пожар из горящего здания. На вещах торопливо раскладывались постели, и там сидели женщины и дети. Старик выскивали пустые места, чтобы поспешно раскинуть коврик, взять в руки священную книгу и, полуприкрыв глаза, закинув голову, прочитать древними словами, — и их сгоняли с места на место, в новые и новые места сваливая подушки, детей, ночные горшки, самовары. На палубах громко говорили, должно быть, ссорясь, мешая русский язык с древне-еврейским. На палубах остро запахло тем запахом, которым пахнут гетто и парходные трюмы: парходные трюмы и гетто пахнут одинаково, быть может, потому, что гетто всегда были лишь перекутнем для этого идущего народа.

Вскоре на палубах, которые так тщательно были вымыты утром, валялись огрызки арбузов, куриные кости, рваная бумага, — откровенная грязь полезла из корзинок и лукошек. К сумеркам все палубы были забиты людьми и вещами, надо было проходить по вещам и людям. От палуб в серую муть сумерок неся чуждый русскому уху молитвенный гул. Эта тесная груда людей была черна — не только потому, что люди были черноволосы и смуглолицы, не потому, что в сумерках одежда, вещи и теснота казались черными, но и потому, что в словах, в движениях, в выкриках чуялась черная, испепеленная кровь людей, мистически настроенных.

Сумерки сменились черною ночью. На море загорелись огни. Замигал, умирая и возгорая вновь, маяк. Судно притихло во мраке. Уже отвисел второй гудок.

Капитан весь день сидел у себя в каюте, пил кофе и отдавал приказания. Пришел старший помощник, сказал, что все работы окончены, — что молодежь — сионисты из Тарбута — собрались на баке, митингуют, приготовили свой синий сионистский флаг. Капитан отпил последний глоток кофе, — сказал, чтобы давали третий гудок, и стал натягивать на себя черное кожаное пальто с капюшоном. — Пароход загудел черным воем. Капитан вышел на мостик под этот вой. И как только затих вой гудка, пароход завыл иным воем — воем слез, прощания, проклятия, воздеваемых к небесам рук, закинутых к небесам голов и острокадычных шей. За этим воем незаметно было, как во мраке у кормы копошился катерок, тужился, посапывал, оттаскивал громаду от мола. Вой не смолкал, — и тогда в вое возник ритм песнопения; эта песнь была гортанна, однотонна, обречена, вся облита кровью и горечью, — это был сионистский гимн, тот гимн, в котором пелось о Сионе, о предвечной избранности этого рассеянного, благословенного и проклятого народа, ныне идущего в Сион. В темноте не все заметили, что на баке за фальшбортом был поднят сионистский флаг. И тогда этот вой и эту песнь покрыл рев капитановой глотки:

— Мооолчать, на баке! — проревел капитан. — Штурман Погодин, посадите зачинщиков в канатный ящик! — Мооолчать!!

На баке на несколько минут возникла сумятица. Кто-то кого-то толкнул. Кто-то кого-то выругал. И пошел гвалт.

— Вы нахал, мерзавец, скотина!

— Моол-чать! В канатный ящик!!

— Гражданин капитан, — меня ударили по шее!

Опять заревел из мрака с капитанского мостика капитан:

— Молчать! Штурман Погодин, виновных и зачинщиков ко мне на мостик.

— Есть! — ответил штурман, и подвахта стала кого-то в толпе отбирать. Толпа стихла и заежилась.

— Слушать команду! — крикнул покойнее капитан. — Сионисты! — когда мы выйдем в море, разрешаю вам петь, от пяти до девяти вечера и от девяти до двенадцати дня... Мооолчать! Зачинщиков в канатный ящик! В море пойте, сколько в душу влезет!

Катерок перестал уже копошиться под кормой. Пароход стал форштевнем к морю. Огни на набережных и наверху в городе слились в одну плоскость, маяк проплыл сбоку. И из моря, с просторов, подул, обвеял широким крылом просторов и бурь морской ветер. Дождь перестал, но звезд не было, и судно уходило в черный тесный мрак. Капитан, старый уже, добрый, в сущности, и усталый человек, сошел в штурманскую рубку, склонился над картой и попросил принести ему стакан чаю. Все лишние огни на пароходе потухли.

... Пароход шел от туманных берегов Скифии к солнцу Мраморного, Егейского, Средиземного морей, к сини моря, неба и гор, — туда, где в Греческом архипелаге — до сих пор еще возникают новые острова и дымят вулканы, — туда, где возникали и гибли великие культуры, — египетская, ассирийская, греческая, арабская, — туда, где тысячи и тысячи прошло народов, нарождаясь, побеждая, умирая, в этой стране солнца, камня и моря, создавая религии, искусства, культуры, цивилизации и — умирая там, где каждый камень — памятник... — «Мастер, осторожней касайся глины», — евреи! — Погибли ассиры, финикияне, филистимляне, египтяне, греки, римляне, арабы, — среди них затерялся народ, иудеи, тот народ, что не погиб, прошел через всю знаемую историю человечества. Навуходоноссор — вавилонянин — увел евреев из Палестины, перерезав оставшихся; через четыреста

лет, уже при персиянине Кире, Ездра привел обратно евреев в Палестину. Римлянин Тит с землей сравнял Иерусалим. И тогда началось двухтысячелетнее рассеяние евреев, голус. Иные из них возникали в Скифских степях полчищами — хозары, — но эти погибли. Другие, и многие, оставили в истории человечества память о том, что римскими купцами они расползлись по Римской империи, что арабскими менялами они пришли в Испанию (и впоследствии, при Филиппе II и Изабелле, иезуитом Торквемадо изгнаны были в сутки, — чтобы — нищими — расползлись по Средиземному морю, народив иудейскую ветвь испаньолов — сафардим). — Те евреи, что остались у развалин Иерусалима, в пустыне, были добиты и доразогнаны в средние века, в начале второй тысячи христианского летосчисления, — крестоносцами, в дни, когда Готфрид Бульонский врывается в Иерусалим, чтобы сделать там Иерусалимское королевство, — и христиане, конечно, не пожалели иудеев, новые и новые толпы их рассеивая по земле. И в памяти человечества остался этот народ, всюду гонимый, — остался в памяти человечества менялой, банкиром и ремесленником, — и еще остался тем народом, которым пользовались все жулики человеческой истории для жульнических своих целей, ибо в тринадцатом веке короли не громили евреев за взятку, точно так же, как в Нью-Амстердаме (как назывался Нью-Йорк прежде, чем стать Нью-Йорком) дали возможность остаться евреям только потому, что у них были деньги, которыми могли они откупаться, — точно так же, как в Йорке, древней столице Англии, англичане гордятся стеклами в соборе, забывая, что эти стекла суть еврейский пот и еврейская взятка — опять за то же, за то, чтобы не громили и не гнали евреев. Вся история евреев окрашена погромами и гонениями, — и вся их история окрашена тем, что евреи — еврейство — не поте-

ряли своего облика и через века пронесли свою тоску, извечную свою печаль — печаль и тоску вечного народа, — пусть гонимого, но все же шшивавшего и шшивающего историю человечества красною нитью иудаизма. И навсегда у евреев осталась мечта о своем государстве, об Иерусалиме, о своих пророках и о своих буднях. Триста лет тому назад смиренный еврей Саббатай-Цеви был возвеличен в Мессии, и тысячи еврейских семейств пошли тогда за Саббатаем — умирать. 2 ноября 1917 года английский министр иностранных дел сэр Бальфур написал еврею лорду Ротшильду о том, что Палестина, под мандатом Англии, отныне есть национальный очаг еврейского народа. И вот теперь на пароходе под флагом Союза советских республик ехало пятьсот человек евреев к своему национальному очагу. Пароход уходил в синь Средиземных морей — —

Ветер дул уже холодом. Сзади горел, умирая и возрождаясь, маяк, и исчезали огни порта. На корме, над винтом, прислонившись к фальшборту, стоял старый еврей, в кафтане, в ермолке, с клинообразной бородой по пояс — старый еврей, который ехал к Стене Плача, чтобы выплакать там все свои слезы и чтобы без слез уже, счастливым, умереть на обетованной земле, в долине Иосафата. Он смотрел назад, на ту землю, где родился он, где родились его деды, прожившие здесь в гонении столетья, — и он, старик, плакал, прощаясь. Он должен был это сделать — и он проклял эту землю рассеяния: но не плакать — возможности не было, слезами горя. Ту же землю, что лежит впереди за морями, — он поцелует, он поцелует своими старческими губами, старую свою грудь припадет к земле, прижмется к ней, — и эти старческие поцелуи будут самыми страстными — самыми страстными поцелуями из всех, какими когда-либо он целовал, — и ту землю он обольет слезами горя.

Маяк уже скрылся, умер во мраке. Черная стояла кругом ночь, обдувал ветер холодом. Старик по загруженным палубам пробрался к себе, к своим вещам. Здесь были растянуты тенты. Люди спали, уставшие от дня. Светила здесь несильная электрическая лампочка. На корзине лежала — спала — женщина, и ее голова повисла в воздухе. За ящиками на перине спало целое семейство.

У электрической лампочки висела клетка с канарейкой, и канарейка не спала. На полу в проходе спал старик, подложив под голову рюкзак. На скамье спали обнявшись, чтобы не упасть, две девушки, под скамью поместился и покуривал перед сном юноша. Все остальное место было завалено вещами. Старик сел на свой матрас около своей жены и последнего своего ребенка, поехавшего с ними, — раскрыл книгу и — бесшумно, одними губами — стал читать молитвы. Еще десяток таких же стариков сидели так же с такими же книгами. Старик увлекся чтением, — где-то, на конце фразы, смысл которой был особенно ударен, где говорилось о строгости жестокого Иеговы, старик поднял горе голову и пропел эту фразу. Сейчас же ему откликнулись другие старики. И вскоре на палубе возникло странное, чуждое русскому уху, молитвенное пение, напряженное, страстное, как страстна может быть кровь — —

...А на баке около форштевня в этот час стоял юноша, в кожаной куртке, в галифе и новеньких галошах. Лицо у него было — если бы осветить его в этот момент фонарем — было торжественно, строго и решительно, но это же лицо указывало, что юноша был слаб здоровьем, быть может, страдал чахоткой. Глаза его были прикрыты пененэ, шнурок от пененэ лежал за ухом. Юноша стоял прямо, откинув голову назад, смотрел вперед, подставлял грудь под ветер. Уже качала волна, и за бортами сопело море, и бак медленно поднимался, чтобы опуститься с шипом

в волны. Этот юноша, прощаясь с девушкой, оставшейся на берегу, крикнул ей: — «в будущем году — в Иерусалиме!» — и он страстно пел свой сионистский гимн. Там впереди за морями была обетованная земля. Старики ехали к Стене Плача — он ехал в Тэл-Авив, гехолуец, — он ехал мостить дороги, садить сады, растить виноград и рициновое дерево, копать колодцы, сушить Тивериадское озеро и его лихорадки. Он, демократ, сионист, социалист, ехал строить свое государство, потому что не хотел быть непрошенным гостем в странах рассеяния, хотел себя освободить от чужих народов и их — этих чужих — оставить свободными от себя. Он руками, грудью, плечами — киркой и лопатой — должен был построить свой дом, свой мир, — он, сын народа, всегда гонимого и никогда не теряющегося, великого народа. В ночи и ветре, — через ночь и ветер, перед глазами его вставали подступы к Сиону, в пыли и зное дули аравийские ветры, и там вдали в красных песках стоял город с высокими, зубчатыми стенами, разбросанный на каменистом плоскогории. В этот город идут караваны верблюдов, — но это он, это его братья пророют там дороги вплоть до Индии и всю каменистую пустыню, где сейчас изредка торчат пальмы да джигитуют бедуины, превратят в апельсиновый сад. Там, в Палестине, после двух тысяч лет вновь возник древний язык, — и кто знает, быть может, среди камней, около рва, обсаженного кактусами, там, где потечет вода, возрождающая пустыню, он скажет далекой девушке, как говорил уже однажды у себя в местечке в Витебской губернии, — скажет девушке о прекрасной любви... Их, из этого местечка, сейчас ехало семеро, четверо юношей и три девушки, все они были и гехолуцы, и из Тарбута. Это они протащили через таможеню и политконтроль сионистский флаг и пели свой гимн перед уходом в море. Когда кричал ка-

питан, они совещались, — петь или не петь дальше? — и это он отговаривал петь, полагая, что пение мешает капитану командовать судном, — утешая тем, что, когда они выйдут в море, они попоют.

И юноша, как старик, пошел спать. Все семеро они устроились вместе, под вельботом. Товарищи его уже спали, свалившись кучей на мешки. Он снял сапоги вместе с галошами, подсунул их поглубже под вельбот, всунул в сапоги чулки — и втиснулся в товарищей, скромно поправив сбившиеся на девушке юбки. Эта девушка не проснулась, но проснулись — другая девушка и юноша. Тот, что разбудил их, тихо сказал, с трудом, на древнем языке: — «В Палестине англичане ведут такую политику, что разделяют арабов и евреев. Нам необходимо коллективно обсудить, как достигнуть дружбы арабов. Впоследствии нам совместно придется воевать с англичанами — —»

Ночь была глубока. Все спали на пароходе. Пароход затих, и слышно было как шумят волны и ветер. Капитан с вечера заснул в штурманской рубке, — проснулся в этот глухой час, слушал, как отбили склянку, вышел на мостик. Небо очистилось, светили звезды. Шли на траверзе Дуная. Капитан справился о курсе, покурил. У компаса стоял человек в плаще, разговаривал со штурманом.

— Не спите? — спросил капитан.

— Да, не спите. Хожу, смотрю.

— Вы, извините, по делу едете? — спросил капитан.

— Нет, еду посмотреть. Вернусь вместе с вами обратно. Ведь мы будем проходить — поистине по человеческой истории. Интересно посмотреть, что осталось от человеческой колыбели.

Капитан сделал презрительнейшее лицо, поджал губы, словно съел кислое, сказал:

— Ничего не осталось от всего этого, самое безобразное. Я ходил в Америку и на Дальний Восток. Хуже Ближнего Востока ничего нет, одно надувательство и безобразие, извините, — что турки, что греки, что левантийцы, что арабы. Турки с арабами еще ничего, — одни честные, а другие работать могут. — Капитан помолчал, спросил: — Извините, я имя ваше позабыл:

— Александр Александрович Александров.

— Извините, Александр Александрович, а я думал, что вы еврей, — сказал капитан.

— Да я и есть еврей.

— Вы — партийный?

— Да, я коммунист, только я еду под чужой фамилией и с чужим паспортом.

— Я тоже партийный, — ответил капитан. — Не хотите ли стакан пуншу? Идемте в рубку.

Ночь была черна, все огни потухли на пароходе. В рубке капитан, стоя, локтями облокотился на карты и, с карандашом в руках, говорил о Константинополе, о Смирне, об Афинах, о Бейруте, о Яффе... Против капитана сидел немолодой человек, тщательно одетый в пре-красно сшитый серый костюм, тщательно выбритый, сухощавый, со ртом, полным золота. Этот человек давно уже потерял всяческие национальные черты, его как следует выгладила Европа. Лицо его было немолодо, но такое, по которому трудно определить возраст, оно было энергично и утомлено, — и было таким лицом, которые недолго хранятся в памяти. У него была привычка подбирать нижнюю губу, покусывая ее, а глаза его смотрели упорно, верно сказывая, что этот человек может думать быстро, точно, разумно. Этот человек держал в руках стакан пунша, но не пил его, — машинально, должно быть (хотя этот человек был того склада людей, которые очень

внимательны), он перебирал в пальцах стакан и заглядывал на его дно.

Потом было утро.

Тогда к капитану подошел тот юноша, который простоял ночь у форштевня, в галифе, но без сапог, в одних галошах на красных домашнего вязания чулках. Юноша спросил капитана:

— Гражданин капитан! Вы вчера сказали нам, что, когда мы выйдем в море, мы можем петь от девяти до двенадцати дня и от пяти до девяти вечера. Скажите пожалуйста, мы уже вышли в море?

Судно шло морем уже около полусуток, — на лице капитана изобразились поочередно страдание, недоумение, опять страшное страдание, обида. Капитан вынул руки из брюк, уперся ими в боки, потом стал разводить руками, все дальше и дальше назад, выставляя вперед живот. Потом рука капитана подперла его щеку, лицо изобразило плач, — и по палубам полетел бас капитана:

— Да это же чорт знает что такое! Да это же вы издеваетесь над капитаном! Да это же, да это ж!.. — и уже свирепо, двойным басом: — Молодой человек, не смей издевательских глупостей спрашивать у капитана! — —

Через несколько минут, все же, капитан мирно ел маслины и мирно беседовал с Александром Александровичем. Юноша же энергично ходил по палубе с девушкой, пусть жарко, но под руку: он был в галифе и в шляпе, в руках у него была тросточка; девушка была в нитяных туфлях, чулки были надшиты, черные и серые. Она была очень некрасива, кривонога, широкобююка. Он смотрел сосредоточенно; они ходили очень быстро; он говорил, должно быть, о чем-то очень значительном, и тем не менее под руку; и надо было заключить о том, что, пусть они оба некрасивы, — всегда прекрасна молодость!

## II

Судно — синью морей — шло в Палестину.

Через день моря был Босфор, Кавак. Там турки возили палубных пассажиров в баню. Глаз пригляделся к пассажирам. Было известно, что под трапом на спардеке поселилась семья бухарских евреев; в их костюмах и, должно быть, в их быту отразилась та тысяча лет, что прожили они среди узбеков: мать, в узбекском халате, лежала на пестрой перине, прикрывшись широчайшим шелковым одеялом, подобрав под себя детей! — как легла на перину, так и не вставала с нее, должно быть, решив не вставать до Яффы; отец же от времени до времени вылезал из-под перины, тоже в халате, и бегал на другой конец парохода, тоже к бухарскому еврею, поиграть в кости; мать резала арбузы и давала огромные ломти детям, — около их логовища лежала гора арбузных корок и тут же стоял ночной горшок для детишек. Горские евреи, выходцы с Кавказа, на подбор красивый народ, держались вместе, табунком мужчины, табунком женщины, — они везли с собой кусочек кавказских вершин и ущелий, — гибкостанные, высокие, медлительноловки, потомки хозар. Если присмотреться внимательнее, украинские евреи — рослее, здоровее польских и литовских; это от того, должно быть, что, когда громили гайдамаки евреев, они вырезывали всех мужчин и насиловали всех женщин, от девочек до старух, вливая в еврейскую кровь гайдамацкую. Почти все литовские евреи, ремесленники, были хилы. На спардеке у трубы устроилась семья субботников, украинцев, принявших еврейство; он, муж, кроме украинского языка знал еще древний еврейский, — она же, жена, умела говорить только по-украински; все дни она сидела так, как сидят, отдыхая, русские бабы, на полу, широко раставив ноги; голова мужа лежала



у нее на коленях и она искала у него в голове вшей, — впрочем, это в то время, когда они не молились. Старик-еврей попросил у капитана место для молений; капитан отвел им пустое трюмное помещение. Там в этом пустом трюме света не полагалось. Там была сделана моленная. Там горел десяток свечей, и все же был мрак. Там пахло так, как всегда пахнет в трюмах — и как пахнет в гетто. Там на полу, кто на чем примостился, сидели старики в таласах, в ермолках, с коробочками тфилнов на головах с кожанопереплетными книгами. Из трюма по жилым палубам неслись песнопения. Там, в трюме, нечем было дышать, глаза резало удушье свечей, там было очень жарко, — и круглые сутки там молились люди неведомому, страшному Адонаи неистово, страстно, обреченно. Субботник-украинец молился здесь со всеми остальными, так же, как остальные, закидывая высоко горе голову. Молодежь все время митинговала на баке.

Классных пассажиров было немного, это были зубные врачи, несколько актеров (один из этих артистов приходил к капитану со следующими словами: «Простите, гражданин капитан. Я артист московских больших и малых театров, оперный артист. У меня билет до Яффы третьего класса. Нельзя ли мне устроиться во втором, там есть свободные каюты» — —); зубные врачи, актеры, маклер все время были на спардеке, пили чай и ели из кулечков запасенное с земли; их жены наподбор были толсты, откормлены; они нежились на шез-лонгах и около них болтались молодые штурмана и практиканты; мужья несколько раз принимались за преферанс.

В первый вечер моря необыкновенно умирало солнце. Торжественная проходила тишина, — и тогда море и мир, — все проваливалось во мрак, а звезды стали такие, что, что — нельзя было подобрать к ним сравнения. В этот час никого не было на спардеке, кроме Александра:

еврей от торжества сошествия ночи ушли к своим койкам. Над водой стал месяц и быстро пошел в небеса, рядом с яркой звездой; по морю, в синем мраке, легла от месяца дорога — и Александру стало ясно, что, если у турок всегда такой полумесяц, как этой ночью, византийской вязи, то понятно, почему у турок, у ассирийцев, у мидян, у египтян были н о ч н ы е , л у н н ы е цивилизации. Около месяца, застеежкою, горела яркая звезда.

Утром судно пришло к Босфору, к Геллеспонту, к этому красивейшему, величественнейшему в мире земному месту, где склонились друг к другу горами Европа и Азия. Вода и небо были ослепительно сини. Солнце грело жарко. С земли дул ветер, гудел в вантах, — и от этого ветра еще лучше было солнце: такой ветер должен все раздувать, оставляя синь и солнце... Впрочем, вода была синей только в проливе, под бортом парохода и у берегов она была зелена, как яхонт. Направо на европейском берегу и налево на азиатском росли фиговые леса. На вершине горы главенствовали над проливом развалины сердцеподобной генуэзской крепости. На взморье было до десятка пароходов, их гуды отдавались многими эхами. Справа и слева с моря шли фелюги, под косыми своими парусами, пестроокрашенные. Судно прошло в Кавак, в контроль. В бинокль на берегу были видны очень маленькие и пестрые восточной архитектуры трехэтажные домики, стоящие прямо на воде так, что под домами были устроены для кайков гаваньки. Над одной из гаванек была кофейня, на терраске над водой сидели люди за кальянами. Судно приняло полицию, врача и пошло на карантинный пункт, в баню. Опять за бортом зашелестела яхонтовая вода, опять задул ветер, тот, который необходим солнцу.

Впрочем, солнце, небо и землю наблюдал только один Александр, потому что остальные пассажиры были на-

строены так же, как, должно быть, перед погромами. Никогда не плохо человеку помыться в бане, — но то, как делали это турки, когда они категорически гнали мыться в баню пятьсот взрослых человек, причем никто из этих людей в дальнейшем своем пути не имел права выходить на берег в Турции, — это было похоже на издевательство. К бане готовились еще с вечера, шептались, спорили, — старухи ходили к капитану, объясняли про свои болезни и просили заступничества капитана, не веря ему, что он бессилен оградить от мытья. Капитан сначала сердился, потом развеселел и рассказывал женской делегации о том, что в турецких банях моют евнухи, что в турецких банях есть такая специальная персидская грязь, от которой слезают волосы и которой турки моются, ибо магометанский закон не допускает волос на теле, и что этой грязью будут мыть женщин. Одна старуха, вполне серьезно, чтобы не ходить на мойку, скоропостижно забеременела, но ее же соседки подняли ее на смех и вытащили у нее из-под юбки подушку.

Судно отдало якорь около бани. С судна были спущены на воду три вельбота. Опустили два трапа. На палубы набрались добродушные турки, полиция и санитары. Карантинный флаг был снят. Домики на берегу под платанами мирно дымили, дымок уходил в горы, — в азиатские просторы и синь. Все было очень пустынно. И такой был синий под солнцем ветер. Доктор по списку стал выкликать — Розенфельд, Леликман, Френкель, Кац Карп! — и по трапам на вельботы поползли с узелочками люди, к бирюзе воды.

— Ямайкер! — вызвал доктор.

Никто не откликнулся.

— Ямайкер! — повторил врач.

Ямайкера пошли искать по палубам. Погрузка остановилась. Ямайкера нашли не скоро, он спрятался где-то

в машинном под валами. Два турецких полицейских привели на палубу старого, очень худого человека, клинобородого. Лицо его было испуганно, борода дрожала. Он говорил о том, что жена и ребенок записаны в другом списке, и он хочет ехать вместе со своей женой. Вельбот покачивался внизу на волнах, набитый людьми. Человек с кошелкой для белья, в пенсне, крикнул оттуда сердито:

— Товарищи, что за шутка! Прошу относиться к делу серьезно и не понимаю из-за чего и почему шум — —

...Поистине, пароход шел по векам. Босфор, Золотые Ворота, Геллеспонт — здесь прошли все народы мира. Каждый камень, каждая развалина есть здесь память веков, от дней доисторических до норманнов, до памятника Олегу в том месте, где он поставил свои струги на колеса. Судно заходило во многие порты, но эмигранты не выходили на землю. Судно шло солнцем, морем, простором, Эгейей, там, где совершенно понятно, почему греки создали такую прекрасную мифологию, ибо Паросы Андросы, Лесбосы, Скарпанто, Скапилосы сами по себе фантастичны, как греческий эпос, — судно шло невероятной синью моря, неба, гор, луны, восходов, закатов, дней: переселенцы не видели этого, не хотели или не умели видеть, — это проходило мимо них так же, как прошли те века, когда они не были на родине. Они не заметили, как увидел Александр Александрович Александров, что афинский Акрополь есть ключ ко всей европейской д н е в н о й цивилизации, этот белый, выжженный белым солнцем, единственнейший комок мрамора, ключ к истории тысячелетий, где ныне сторожика сушит после стирки красные панталоны, Александр Александрович Александров балдел, сходил с ума, у него на бок съезжал галстук; на автомобиле он мчал в Айю-Софию,

поминал легенду о том, что в этой церкви янычары в один день зарезали сорок тысяч греков (точно так же, в скобках, как в шестнадцатом году двадцатого века, неподалеку, в Дарданеллах, были убиты и зарезаны те же тысячи людей, англичан, французов и турок, о чем памятью остались выскочившие на берег английские дредноуты, — точно так же, как в тысяча девятьсот двадцать первом году Мустафа Кемаль-паша, обложив тяжелой артиллерией Смирну, предложил грекам уйти из Смирны, всем до одного, от солдата до новорожденного, — и, когда греки не успели уйти, — сначала — тяжелой артиллерией — расколотил суда на рейде, а потом разбил, разгромил, сжег город, скинув в море до двухсот тысяч греков, солдат, женщин, стариков, детей, — оставив на обгоревших улицах, в мраморе, покой для сов, поселившихся там). Александр понуро смотрел на те несметные кладбища, города смерти, что на десятки верст могильных камней полегли вокруг развалин Стены Константина в Византии, — и весело поглядывал на могилы сорока султанских жен, зарезанных султаном потому, что он не знал, которая из них — одна — изменила ему... В Эдикюле показывали колодезь крови, где турки рубили головы всем, начиная с султана — — По землям Анатолии прошли все народы. В пыли лежат развалины Сард, Эфеса, Пергамы, Магнезии, Мидета, Галикарнаса. Смирнская провинция помнит трехтысячелетье, легшее на нее пылью. Магнезия, куда мчал на скверном автомобиле по скверному шоссе Александр, столица лидийских царей, переименована в Магнезию из Танталиды, основанной Танталом, — тем самым, который, украв нектар, едою олимпийских богов, угощал им своих танталидских гостей. И на Сицилском хребте, видимом из Магнезии, видна женщиноподобная скала Ниобеи, о которой сообщено Геродотом и воспето Овидием — то обстоятельство, что скала эта

возникла из окаменевшей от горя Ниобеи. В Галикарнасе родился Геродот, — ныне там пыль и запустение, и несколько турецких лачуг. В Эфесе, в ночь рождения Александра Македонского, Герострат сжег храм Дианы-Артемиды, — чтобы прославиться: и Александр задирал вверх голову, чтобы посмотреть развалины храма. В самой же Смирне, в теперешних ее развалинах, ютятся совы, но здесь, по преданию, родился и писал Гомер, — и здесь же до сих пор, — ныне в развалинах, на мостовых, построенных римлянами, по которым шли римские, когорты, — пляшут под арфы левантийские танцовщицы, пляшут танец живота, застрявший из веков, и мажут себя перед танцем из веков же застрявшей амброй. В Эгейском море, в Греческом архипелаге каждый день из сини благословением выходило солнце и благословением закатывалось, чтобы народить необыкновенную луну. Море — синевой — проносило судно мимо островов, где каждый остров — история и легенда. Ночами светила луна, и ночами на небо поднимались звезды, такие, которых никогда не видно из Лондона, Берлина, Москвы, — в полночь на несколько минут на кварту из-за горизонта выходили таинственные созвездия южного полушария и сейчас же скрывались за горизонтом. Ночью же судно прошло мимо Сенторинского вулкана, мимо этой стихии земных недр, вулканом выбрасываемых в небо. Луна меркла от вулканного красного света, было слышно, как дышит вулкан. Лицо капитана, около которого стоял Александр, было зловеще в этом красном мраке. Было очень величественно. Но на судне никто не видал этого. Александр неистовствовал от земель, городов, солнца и луны.

На судне почти не было событий. Каждое утро боцман мыл палубы, и тогда роптали палубные пассажиры,

ибо приходилось перетаскивать с места на место вещи, — но шланга боцмана смывала за борт очень много грязи и объедков. В портах к пароходу подъезжали кайки, и помощью веревок велась торговля инжиром, финиками, маслом, табаком, хлебом, — и тогда борт парохода походил на местечковую ярмарку, мелочную и очень шумную. Среди классных пассажиров было известно, что такая-то жена зубного врача забегает грешить в каюту радииста, и об этом знали все, кроме мужа. Поговаривали, что матросы набрали себе жен на рейс с нижней палубы, но это делалось незаметно. Раза два были ссоры, в которые вмешивался капитан, чтобы примирить, когда возникали два ссорящихся коллектива. Однажды, уже в Средиземном море, на юте был большой шум: старик-отец ночью, проходя из моленной, увидел, что дочери его нет на месте; он пошел ее искать и нашел лежащей с юношей за якорями. Отец ее проклинал. И утром толпа стариков, вместе с отцом, громко проклинала ее, на древнем языке. Она стояла у решотки фальшборта, над ней повисали прокливающие руки, вокруг нее тряслись седые бороды, и было непонятно, почему она не бросается за борт от безобразия и — почему это старики только орут, но не избивают ее камнями. Девушка же была покойна и, когда зацеплялась за кого-нибудь взглядом, покойно говорила, одно и то же:

— Ну, и что? — Я еду из Тарбута, и мой жених из Тарбута, а он — мелкий торговец, мой отец —

Судно протекало мимо Византии, Смирны, Пирея, Салоник, — судно шло синью Босфора, Дарданелл, Эгейи, Средиземья. Все это протекало мимо. Чем дальше шло судно, тем страстнее неслись молитвы из трюма, из моленной, тем жестче сжимались руки и глотки в молитве. Уже за недалекими синями — обетованная земля: изгнание — окончено. Каждый, кто ступит на

землю отцов, поцелует эту землю, священнейшую, родину.

В Салониках, — городе, разбитом и разграбленном так же, как Смирна, где целые кварталы лежат в развалинах, — на пароход села семья греческих евреев, сефардим. Их было семеро: старуха-мать — бабушка, сын-отец, жена и дети. Это были евреи второго — испанского — пути рассеяния. Их предки расстались с предками едущих на пароходе полторы тысячи лет назад. В Салониках неизмеримо жарило солнце, день был золот и синь. Эти евреи, конечно, ни слова не знали по-русски. Они поспешно взбирались по трапу. И на палубе вся семья — от старухи, которая шла впереди, до четырехлетнего ребенка, — все заплакали, все протягивали руки и, восклицая на древнем языке, все — они страстно, почти истерически, как братья, которые не виделись десятки лет — попадали в объятия, страстно целовали всех евреев, что были на палубе. И те, что были на палубе, поистине, вставали в очереди, как в Москве в 1919 году за хлебом, чтобы поцеловаться, — пусть у некоторых это было формальностью. В моленной, в трюме — на железе палубы, на канатах, на подостланных матрацах — сидели люди в талесах и тфилнах, молились Адонаи; там чадно горели свечи и нечем было дышать —

Однажды море развело волну, это было уже в Средиземьи. И море и небо посвинцевели, загудел в строениях на пароходе маистра, зеленая муть волн полезла на палубы. Люди тогда хворали морской болезнью. Человеческие тела завалили все палубы. Первыми затошнились женщины, потеряли в болезни стыд. Стонали, причитали, валялись, не следя за платьями, их рвало тут же на палубы, около их подушек и голов. Иные висели над бортами, и ветер метал их волосы. За бортом величествовали стихии. На борту страдали люди. Меж тел ходила

команда, иных тащала к борту, иным притаскивала воды, иных водила по сортирам. Ходил по палубам молчаливый доктор, больные просили у него спасения, — доктор от-малчивался, лишь изредка, неизвестно почему, спрашивал у женщин таинственным голосом, — «а что понос имеется?» — женщины поспешно рассказывали обо всем том, как варит их желудок, — и доктор проходил мимо. Когда доктор видел уж очень побледневшие лица, уж очень запекшиеся губы, он говорил санитарам, чтобы облили холодной водой и относили на спардэк, к трубам, на ветер и туда, где меньше качало. По палубам со шваброй ходил боцман, покойный человек; он подходил к тем, кто томился, и спрашивал: — «что, мутит?» — и производил тот звук, который не передать литерами, который производится во время рвоты, «ы-ык», — и человека сейчас же судорожно тошнило от этого звука; боцман шваброй растирал по палубам рвоту и говорил: — «Самое верное дело поблевать, сразу легче. Опять же я подмыл!» — За бортом стихийствовало море. В эти часы особенно много было людей в моленной. Во мраке там нечем было дышать от запаха рвоты. Огни свечей метались от качки. Там истушенно молились люди, страдающие качкой, горе поднимая запекшиеся бороды.

А в ночь перед Палестиной море гремело грозой. Во мраке исчезли небо и вода. Только молнии колоди и рвали небо и воду, и выл ветер, и гремел гром. Было очень странно смотреть, как, когда померкнет молния, светится еще — фосфорически — вода; — и тогда казалось, что грохочет громом не небо, а вода, вот та, что лезет на палубы, вот та, в которую зарывается нос судна. Всегда величественны и грозны грозы. На судне никто не спал, но все люди, табунами, забились по щелям, дальше от грозы, в страхе, в молитвах.

...Впереди была Палестина — —

На Урале в России, где-нибудь около Говорливого или Подюдова камня, выбился из-под земли студеный ключ, протек саженой десять и вновь ушел в землю, исчез. Проходил мимо этого ключа путник, наклонился, чтобы испить, — и не вышил ни капли, потому что вода солена до горечи, негодна для питья. Или прилеж путник, чтобы испить, — и обжег губы, ибо горяча вода, как кипяток. Но путник встал, пошел дальше и забыл дорогу к этому ключу, забыл про ключ —

За грозами революций и войн, за делами, за разбоем и буднями новых народов, правящих миром — республиканцев СССР, англичан, французов, немцев, китайцев, республиканцев Северо-американских соединенных штатов, — за заводами Ланкашира, Рура, Осака, Чикаго, — за дипломатией Кремля, Вестминстера, Версаля, Потсдама: — как помянуть о том человеческом ручье, который протек на судне Торгового флота СССР из порт-Одессы до порт-Яффы? — и какой это ключ — студеный, горький ли солью, кипящий ли? — и к чему этот ключ, — что можно им отомкнуть, отпереть? — —

...Там, за синей мглой моря, была Палестина, эта страна выгоревшего камня, страна песков и зноя, — эта страна, где больше, чем где-либо, прошло великое разрушение древних цивилизаций, безводная страна, где только у оазов растут пальмы, — брошенная страна, ибо никто не вправе сказать, что это — его страна. В Палестине девять месяцев в году нет дождя, и тогда над землей стоят столбы красной пыли, и тогда такой жар над землей, жар пустыни, что нужны усилия фантазии, чтобы не спутать Палестину со сплошной печью. Потом три

месяца подряд льют ливни, и люди тогда хворают папатаджей, страшной болезнью, окончательно изнуряющей (впрочем, так же, как в жары непривыкший человек погибает от болезни харара, изъедаемый москитами). В ливни Палестина превращается в болота. В ливни Иордан, обыкновенно шириной в уличную лужу, разливается до четверти ширины русской Москвы-реки. В ливни, в болестях папатаджи, люди заботятся о воде, в этой безводной стране, собирают ее в подземные цистерны, чтобы потом в девять месяцев бездождья пить эту дождевую муть, ибо другой воды нет в этой стране, кроме морской, которую опресняют по побережью морскими опреснителями. В этой стране естественно растут только кактусы, пища арабов, да у оазов пальмы. Здесь на камнях, с страшным трудом, арабы взращивают апельсины и касторовое дерево. В этой пустыне живут арабы и сафары, местные евреи. Их быт — быт пустыни, Корана и Библии: быт колокольцев на шеях верблюдов, тоскливых колокольцев пустыни, быт осла, быт деревни за кактусами и за пальмами, где ручными мельницами женщины мелют зерна, женщины в чадрах, и куда не заходят европейцы в боязни быть убитыми, — быт пыльных городков с зловоннейшими улицами, где не разойдутся два верблюда и где обязательно запутается европеец, — с мечетями, где дворы мечетей превращены в постоянные дворы для ослов, — с кофейнями, где левантийки и феллашки пляшут танец живота, — быт кальяна, мечети, синагоги, Корана, Библии, — беспаспортный быт, ибо даже англичане не в силах навязать арабам паспорта, — быт страшного солнца и величественной луны, когда воют в пустыне шакалы, — быт песков, которые ползут на Палестину из Аравии, — многовековой, старый, нищенский, тесный, упорный быт. В Иерусалиме столкнулись святилища трех великих религий; мечеть

Омара, где Магомет ушел с земли к Аллаху, — гроб Иисуса Христа в темном подземелии — и развалины Иерусалимской стены, стена еврейского плача; каждая из этих религий, пока она не умерла, не отдаст своих святилиц. Англичане пришли в Палестину «по мандату», в эту «мандатную» страну, с тем, чтобы создать Великое Арабское Государство, никому не нужное, кроме англичан, — и нужное англичанам к тому, чтобы проложить сухопутную дорогу в Индию. И англичане сделали из Палестины «национальный еврейский очаг», с тем, чтобы еврейским мясом колонизовать арабов — с тем, чтобы дать повод к горестной еврейской остроте (ибо еврейский народ всегда сам про себя выдумывает анекдоты), остроте о том, что в Палестине — власть английская, земля арабская, а страна — еврейская! Англичане жили в лагерях в Палестине, за пулеметами и солдатами, и в тот час, когда на окраинах под луной начинали вить шакалы, англичане скрывались в своих лагерях, за пулеметы. Евреи приезжали в Палестину — работать, хлебоществовать. Первым делом — по сравнению с арабами и сафарами — они оказывались е в р о п е й ц а м и, по костюму, по манере жить, по понятиям, в своем неумении пить протухлую воду, в страданиях от жары, папатаджи и харары. Те евреи, которые приезжали с деньгами, ехали в Тэл-Авив, в городишко около Яффы, куда за п р е щ е н доступ арабам и где можно было бы жить, если бы у человека было по сто восьмидесяти зубов, по десяти ног, и если бы человек носил бы сразу по полдюжине карманных часов, ибо тогда хватало бы работы на всех дантистов, портных и ювелиров, съехавшихся в Тэл-Авиве; но у человека гораздо меньше зубов, — и те евреи, что приезжали с деньгами, попросту скоро становились нищими. Те евреи, которые приезжали через Тарбут и Гехолуц, шли в английские казармы; сюда брались

люди только до сорока лет, — там им давались одежда, обува, пища и несколько пиастров, — и они мостили для англичан дороги, рыли канавы, высверливали воду, оказывались от ползущих песков, причем мужья жили в одних бараках, а жены в других, — их кормили англичане за длинными казарменными столами, и вечером казармы запирались. Третья волна евреев шла на землю, та, которой посчастливилось получить денег от барона Ротшильда или с американских подписных листов, — тогда они копали камень, рыли гряды, саживали в неуменьи руки, изнывали от жары, наспех читали брошюры по сионизму, жили в палатках, — а ночью, когда поднималась луна и выли гиены, брали винтовки и караулили поля, ибо арабы не утеряли еще память о филистимлянах, восстанавливали филистимские времена и нападали ножами на евреев. Англичане не смешивались с евреями и арабами. Евреи не заходили в арабские деревни. Арабы не пускались в еврейские поселки. В пустыне глухо позванивали бубенцы верблюжьих караванов. На Иудейскую долину наползают пески пустыни. В Хайфе надо часами путаться в арабских закоулках, в зловонии, — можно часами любоваться — европейцу — ослиным постоянным двором под мечетью и базаром, тут же около мечети. Главная улица Тэд-Авива нищенствует, но похожа на Уайт-Чапль-стрит в Лондоне и на одесскую Дерibasовскую. В Яффе — на глаз европейца — такая теснота в переулках, такая красота, такая экзотика, — так необыкновенны эти широчайшие белые штаны арабов, пестрота народов, красок, лиц, звуков, — под этим воспаленным солнцем, — так прекрасны, так красивы сафары и сафарки, библейские евреи, мужчины на осликах, в белых хитонах, с пейсами до плечей, с лицами, похоронившими в себе тысячелетие, — женщины, единственные здесь, кроме европейцев, с непокрытыми ли-

цами, — с лицами, скопившими в себе тысячелетия красоты Сиона — —

...Ночь перед Палестиной неистовствовала грозой. И всю ночь перед Палестиной страстно молились евреи, — перед той прекрасной, обетованной землей, их родиной, где не были они два тысячелетия, — молились в страхе, в стихиях, в громах, посланных им Адонаи, — молились, должно быть, так же страстно, как молились в этом море многожды, несколько тысяч лет назад, в золотой век Ассирии, Лидии, Египта, Греции, когда здесь в бурях и грозах гибли галеры и на галерах молились люди, — молились так, как молятся перед гибелью.

Тогда к рассвету стихла гроза, и на рассвете в синей мгле возникла желтая земля пустыни, пески, камень, — только очень далеко вдали, за песками были видны синие горы. Люди вышли на палубу. Люди принарядились, чтобы крепче подчеркнуть свою нищету — нищету смокинга в утренний час. Капитан сверкал кителем. Александров вышел на палубу в огуречном шлеме, нарядный, свежее-выбранный, в белом костюме. Вода была зелена. Небо синело так, что об него можно было вымазаться. Судно блестело чистотой. Краски и солнца, и воды, и неба, и судна были совершенно первородны, голы, без полутеней, точно их вырезали ножницами. Берег стал ближе, видны стали пальмы на берегу, белые груды домов, мечеть, два парохода на рейде, фелюги, катки. И моторная лодка пошла к пароходу. Люди на палубах были в священной строгости, торжественны. Гехолуццы столпились на спардеке, рядами, готовые запеть свой гимн, в задних рядах был приготовлен сионистский флаг. Старики и женщины были готовы упасть на священную землю, чтобы поцеловать ее, и готовы были целовать тех, кто сейчас придет за ними.

Судно пришло в Палестину первого ноября: несколько лет тому назад второго ноября министр сэр Бальфур написал лорду Ротшильду о национальном еврейском очаге в Палестине. Моторная лодка пристала к штурм-трапу. Трое — три англичанина в военной форме, офицер и два сержанта — вошли на борт. Гехолуццы на спардэке закричали ура, запели гимн, за приветствовали, — старики бросились вперед с простертыми руками, спросить и узнать: — ни один мускул не дрогнул на сухих, вываленных лицах англичан, они прошли мимо толпы, точно толпа была пуста. Англичане пришли на мостик к капитану, улыбнулись, поздоровались, спросили о море, о погоде, состригли. Капитан широкоруко «вэри-матчил» и «шэзил», разводил руками, хохотал, предложил русской водки и икришки. Англичане не отказались, белоснежный лакей за тентом на спардэке заблестел кофейником, салфетками, тарелками, кеглей летая мимо толпы. Англичане были озабочены и за водкой обсуждали совместно с капитаном — нижеследующие: на завтра, второго ноября, в день декларации Бальфура, ожидалось антиеврейское выступление арабов, англичане не имели права сразу выпустить евреев на землю, без карантина и бани, баня же могла пропустить только триста человек, — а карантин стратегически так был расположен, что можно было ожидать нападения на него арабов, англичане предлагали судну уйти на эти дни в море; капитан широкоруко хохотал, пил водку и доказывал, что каждый день простоя стоит ему двести фунтов, — тем паче, что пассажиров надо кормить; тогда стали торговаться о цене. Англичане пили водку не хуже капитана. Капитан и англичане за водкой хитрили больше часа. Тогда англичанин, офицер, вышел к толпе и сказал о том, что они, англичане, триста пассажиров примут здесь в Яффе, по алфавиту, кроме первого и второго классов, которые могут сойти с парохода без карантина,

триста человек, — остальные же будут отвезены пароходом в порт-Хайфу, в хайфский карантин. Говорил англичанин по-русски. Англичанин сказал евреям, что они должны быть осторожны, запретил петь гимн, чтобы оправдать гостеприимство арабов. Англичанин сказал, что он, подплывая на катере, видел сионистский флаг, — и англичанин предложил флаг сдать ему, англичанину. Толпа гехолуццев окаменела. Англичанин твердо попросил его не задерживать, — но сам не тронул флага, глазом указав сержанту принять его и убрать. Тогда англичане ушли на катер, ни мускулом не простившись с толпой, и с парохода видели, как в зеленой воде поплыли синие лоскутья знамени. Тогда не стоило уже говорить об огне глаз приехавших в обетованную землю, ибо на борту стояла растерянная толпа, избитая так же, как избивали в древности камнями, — такая толпа, какую она была многожды, в дни еврейских погромов, — такую, когда еврейю всячески хочется доказать, что он не еврей. И тогда на место англичан приехала на катке делегация местных евреев, представители разных организаций, — чтобы начать приемку приехавших; среди них были и женщины, и у всех у них почему-то были очень пыльные ноги, точно они прошли огромные десятки верст; никаких приветствий не было; делегация села за столик и стала выкликать — Авербах, Альтшуллер, Аронсон. Первым сошел с парохода Александров, потому что у него была виза корреспондента и туриста. — А с десятым пассажиром, с женщиной — ей было сорок два года, она приехала через Тербут, гехолуццка, — и ее не выпустили на берег, она должна была плыть обратно, потому что англичане пускали в Палестину гехолуццев только до сорока лет, так как, должно быть, люди после сорока лет уже не годились для палестинского режима, женщина плакала и говорила, неизвестно к чему, что она дев-



ственница, — она действительно, должно быть, была девственницей, и у нее никого не осталось в России, — брат ее был в Палестине. Ее оставили на борту, не пустили на берег, и брат махал ей — растерянно — кэшкой с лодки — —

Порт-Яффа — в сущности — никакой порт, ибо он с трех сторон открыт ветрам, а каменные рифы у берега только увеличивают опасность для пароходов, стоящих на рейде. Но всегдашняя волна на рейде приучила гениально работать арабов: на волне они работали лучше, чем турки у Золотого Рога. Ночью в тот день был шторм, теперь шла волна. Шаланда, ставшая у борта парохода, вставала на дыбы. Арабы — красивейший, сильнейший народ — плясали на пляшущей шаланде и очень шумели. Цепь арабов стала ни трапе и на борту. Они ссаживали на шаланду пассажиров. Араб на борту подхватывал пассажира или пассажирку, поднимал на воздух и бросал вниз на трап, там подхватывал второй араб и сбрасывал дальше; пассажир летел над водой, — но внизу на кипящей, на встающей на дыбы шаланде подхватывали двое уже арабов, и обалдевший, перепуганный, орущий или визжащий пассажир летел на уготованное ему место на банке; в это время летел уж дальнейший пассажир, и первый не успевал опомниться и рассеяться, как пустое около него место занимал следующий обалдевший. Когда шаланда была окончательно набита людьми, она уходила — не на землю, которую так долго ждали, чтобы поцеловать, — а: в баню, где по команде мыли взрослых людей — —

Путь был закончен. Иди начат? — —

...Команду парохода англичане не выпустили на берег, сошли только капитан и Александр Александрович Александров. Отвал был назначен на полночь. Но капитан распорядился, чтоб, если будут сильнеть волна и ветер,

или раньше срока восстанут арабы, — давать гудки и разводить пары.

Александров на канке приплыл в гавань, прошел каменными лабазами и закоулками, вышел на площадь во всекрасочную толпу арабов, евреев, ослов, верблюдов, мулов, автомобилей, пальм, хибарок, кофеен, лавочек с луком, финиками, апельсинами, кактусовыми шишками. Александров у стойки, выходящей на улицу, выпил мастиги, раз, два и три. Шлем его сполз на затылок, сухие губы под английски-подстриженными усами полуоткрылись, открыли золото зубов, лицо обливалось потом, было стремительно, чуть-чуть хищно. Он купил себе английских сигарет, сладко закурил, — пошел по пальмовой аллее, где под пальмами неподвижно сидели, поджав под себя ноги, арабки в белых чадрах, карауля верблюдов и поджидая мужей, и где не так уж вопили торговцы. Там он кликнул себе автомобиль, скомандовал мчать в пустыню, в Тэл-Авив, в Иудейскую долину, — машина пошла мимо кактусов, мимо бесконечных кладбищ, мимо пальм, мимо арабской деревни (Александров приказал остановить машину, хотел пройти по этой деревне, — за кактусами тесно столпились белые мазанки, стали кружком ослы, головами вместе, сидели на порогах женщины; шофер, с которым Александров до этого говорил по-английски, непокойно сказал — по-русски, с одесским акцентом: — «Не стоит туда ходить, неприятность будет». — «Почему?» — спросил Александров. — «Так, знаете ли, еще чего доброго убьют», — ответил шоффер). Мчали мимо огородов, возделанных лопатой, — и пустыня оказалась рядом, в нескольких километрах: красновато-желтые пески, волна за волной, точно умершее море, — и пески уходили за горизонт, даже пальмы не торчали в песках, — и оттуда, с песков, веяло нестерпимым жаром, испекающим. Машина вернулась, чтобы

мчать по Иерусалимскому шоссе, в Иудейскую долину, — влево на песчаных и на каменистых холмах остался Тэл-Авив, «холм весны». Прошел навстречу запыленный отряд, вздвоенными рядами, — ашмер, — еврейской вооруженной стражи, — винтовки и покррой одежды были английские, лица были пыльны — —

В десять часов капитан и Александров встретились, как уславливались, в портовой таверне. На пороге кофейной стригли мальчику голову, голова была в стружьях и из-под стружьев ползли вши. Трое играли на непонятных инструментах очень тоскливое, как пустыня, и сплошь дискантовое, — четвертый бил в бубен. Сначала плясали два мужчины, араба, потом еще пара мужчин в женских платьях, — потом плясала старуха, очень грязная, но продушенная амброй. Александров пришел пьяным: капитан, который выпил вдвое больше Александрова, был благодушно трезв. Александров махал палкой, говорил об ослином постоялом дворе, о красавице-сафарке, о тартуше, куда его завез выпить напиток из индийского дерева шофер и где он напился дузики, — записывал что-то поспешно в блок-нот, — смотрел с восхищением, как пляшут два плясуна в женских нарядах. Нарядный костюм Александрова был пылен и растерзан.

Капитан наклонился над Александровым, сделал серьезное лицо, расправил усы, помолчал и заговорил:

— Александр Александрович, я хочу вас спросить, извините, — вы на самом деле еврей?

— Да, еврей.

— Извините, Александр Александрович, — ну, вот, вы приехали на родину, ну, вы все видели, как мы везли их, как их приняли, — ну, вообще...

И Александров заговорил поспешно, весело:

— Я совсем обалдел от красоты. Я ведь во всех портах выходил, как только отдавали якорь, выходил на

берег и ложился спать, только когда уходили в море. Я первый раз вижу это солнце, эти синь, тепло, море, горы, историю наяву, в руках. У меня море спуталось с греками и солнцем, с днем, — а Мустафа Кемаль-паша и его революция непременно связаны с ночью Ирана, Азии, Ассирии, Сирии, — и исторические века человеческой культуры непременно связаны одною силой с Сенторинским вулканом; силы, толкающие лаву из вулкана, — это именно те силы, что толкают человеческие цивилизации, что толкнули нас, коммунистов, на мировую революцию. Мои предки жили и здесь, в Палестине, и в Риме, и в Испании, и в — чорт их знает, где они жили эти тысячи лет! Те, что приехали сюда, что-то сохранили за эти тысячи лет, — у меня ничего не сохранено, ни один народ, ни одна страна мне не мать, я все могу только любить и видеть. Вы заметили, те, что ехали на судне, никуда не смотрели, ничего не видели. У меня нет родины, моя родина и мои родичи — весь земной шар и все люди, — я интернационален, потому что я две тысячи лет терял родину, и я коммунист, потому что я умею видеть, у меня есть ремень, приводной ремень, который, я знаю, перемашинит весь мир. Я хочу и умею видеть. Весь мир мне родина. Я смотрю на этих танцоров, — из них прут века, так же, как из Стены Плача, так же, как из русского мужичинки, как из английского потомственно-почетного рабочего, как из Синторина, как из Акрополя. Это мой приводной ремень. У меня, быть может, есть холодок веков моих предков, — я лучше вижу, чем люблю: но — тем лучше я вижу! Вот этого танцора я люблю, потому что вижу, статически вижу — —

— Вам все равно, что Россия, что Англия, что Япония, что Палестина? — спросил капитан.

— Все равно! — мне — —

Капитан неодобрительно пожевал губами, посмотрел косо, и первый раз стало заметно, что капитан — подвыпил. Капитан расправил усы и сказал таинственно:

— Вы, стало быть, филосемит? — Я в партии с 1917 г., всю гражданскую войну на плечах вынес, — а вот не люблю японцев. Придешь к ним в порт, положим, в Кобэ, а они — чорт знает что за народ! — и капитан сделал до слез презрительную рожу.

...У полночи капитан и Александров возвращались на борт. Шли они, дружно обнявшись, не спеша, покачиваясь. Пароход на рейде давно уже отгудел третьим гудком. В порту было темно, и мыльными пятнами ложились лунные блики на камень, по которому, быть может, хаживали и Иисус Христос и цезарь Тит. Луна огромными осколками ломалась в море. В каике спали арабы, поджидавшие капитана. Капитан разбудил ближайшего, тот улыбнулся, сказал дружелюбно — «москоби, большевик!» — и растолкал товарищей. Где-то совсем рядом провыл шакал. Проснувшиеся арабы заклекотали, как клекочат орлы, просыпаясь перед рассветом. Синяя волна обсыпала большими и малыми осколками луны, качнула, не пустила каик от берега. Арабы заклекотали, потащили лодку, пошли за ней в воду. Тогда волны приняли каик в свой ритм. И в ритм волнам и в ритм веслам, как птицы, опираясь одной ногой о банку и отталкиваясь другой от борта, повисая над водой, похожие на птиц, загребли арабы. И чтобы грести дружнее, они ободряли себя короткой, гортанной песней, значащей приблизительно то же, что российская дубинушка. Они всклекотывали:

Мы, мужчины, молодцы! Мы, мужчины, молодцы!  
Боже мой, путь еще не кончен! — путь еще далек!

#### IV

Вот арабская песня:

Мастер, осторожней касайся глины, —  
когда ты лепишь из нее сосуд, —  
быть может, эта глина есть прах возлюбленной,  
любимой когда-то:  
так осторожней касайся глины своими теперешними  
руками. —

На Урале в России, где-нибудь у Полюдова камня, идешь иной раз и видишь: выбился из-под земли ключ, протек саженей десять и вновь ушел в землю, исчез. Наклонишься над ключом, чтобы испить, — и не выпил ни капли: или солончак вода, или горячая вода, а иной раз и не хочется пить, но наклонился и — нет сил оторвать губ от воды, — так хороша она. И вот тут, лежа у ручья, видишь, как один за одним — сотни, тысячи — гуськом ползут муравьи, падают в воду, плывут, тонут, ползут: эта армия муравьев пошла побеждать, умирая...

...Судно шло обратной путиной. Было 3 ноября, — через четыре дня наступала годовщина Русской революции. На судне были будни. На спардеке заседал судком — судовой комитет. Годовщину революции приходилось праздновать в море. Общее собрание вырешало, как провести праздники. Александрову поручили проредактировать стенгазету. Затем все принялись за уборку судна. Подвахта кочегаров примостила к трубам доски на манер того, как примастивают их каменщики и маляры на постройке новых домов в России, — залезла на эти доски, повисла на них и размаляривала заново трубы, пела про камаринского мужика.

Капитан лежал в шез-лонге, с блокнотом на коленях: писал воспоминания об Октябрьском перевороте в Одессе

Москва, на Поварской. Декабрь 1925.

---

## ЗАВОЛОЧЬЕ

---

---

*Посвящается О. С. Щербининой.*

«Уже Реаги» отмечает постоянно наблюдающуюся при работе с Десарода кривость кривых, объясняющуюся тем, что при промерах не различается возраст экземпляров. Этим обстоятельством несомненно объясняется и параболическая регрессия. Необходимо особенно подчеркнуть, что мы наблюдаем здесь явление прогрессирующего с возрастом деформизма».

В. Б. А л п а т о в.  
«Десарода Белого, Баренцова и Карского морей».

«Полундра!» — значит по-поморски — «берегись!».

... На острове Великобритания, в Лондоне был туман и часы на башнях, на углах, в офисах доходили к пяти. И в пять после бизнеса потекла из Сити человеческая волна. Великая война отсмертельствовала, из средневековых закоулков Сити, где здравствовали до войны и священнодействовали в домах за датами 1547, 1494 только черные цилиндры, скуртуки и зонтики мужчин, черная толпа могильщиков, — теперь потекла пестрая толпа брентовых пальто, серых шляп и женщин-таписток, розовых шляпок, шерстяных юбок, чулок, как гусиные ноги,

разноцветных зонтиков. Туман двигался вместе с толпой, туман останавливался в закоулках, где у церквей на тротуарах калеки рисовали корабли, горы, ледники, чтобы им кинули пени на хлеб. И через четверть часа Сити опустел, потому что толпа — или провалилась лифтами под землю и подземными дорогами ее кинуло во все концы Лондона и предместий, — или вползла на хребты слоноподобных автобусов, или водяными жучками ройсов и фордов юркнула в переулки туманов. Сити остался безлюдьем отсчитывать свои века. Из Битлей-хауза на Мооргате-стрит, из дома, где за окнами были церквенка и церковный двор с пушками, отобранными с немецкого миноносца, а в нижнем этаже до сих пор от пятнадцатого века сохранилась мasonicкая комната, — вышла девушка (или женщина?) — не английского типа, но одетая англичанкой, с кэзом и зонтом в руках; она была смуглолица, и непокорно выбивались из-под розовой шляпки черные волосы, и непокорно — в туман — смотрели ее черные глаза; у англичанок огромные, без подъема ступни, — у нее была маленькая ножка, и оранжевого цвета чулки не делали ее ног похожими на гусиные; — но шла она, не как англичанка, сутулясь. У Бэнка, где нельзя перейти площадь за суматохой тысячи экипажей и прорыты для пешеходов коридоры под землей, — лабиринтом подземелий она подошла к лифту подземной дороги, и гостиноподобный лифт пропел сцеплениями проводов на восемь этажей вниз, и там к перрону из кафельной трубы, толкая перед собой ветер, примчал поезд. Разом отомкнулись двери, разом свистнули кондуктора, разом разминулись люди, — и поезд блестящей змеей ушел в черную трубу подземелья. В вагонах — разом — лэди и джентльмены развернули вечерние выпуски газет, — и она тоже открыла газету. У Британского музея — на Бритиш-музеум-стешен — лифт ее выкинул на улицу, и за углом

стала серая, облезлая в дождях, громада веков Британского музея, но музей остался не при чем. Девушка пошла в книжную лавку, где в окне выставлено письмо Диккенса, там она купила на английском языке книги об Арктических странах, о Земле Франца-Иосифа, о Шпицбергене, там она задержалась недолго. И тут же рядом она зашла в другую книжную лавку — Н. С. Макаровой; там говорили по-русски, девушка заговорила по-русски; в задней комнате, на складе, на столе и на тюках книг сидели русские, один князь и он же профессор Кингс-колледжа, один актер и два писателя из Союза социалистических республик, бывшей России; они весело говорили и пили шабли, как отрезвляющее; Наталья Сергеевна Макарова сказала: «Познакомьтесь, — мисс Франсис Эрмстет». Девушка и здесь была недолго, она молчала, она купила русские газеты, поклонилась, по-английски не подала руки и вышла за стеклянную дверь, в сумерки, туман и человеческую лаву. Наталья Сергеевна сказала ей вслед, когда она вышла за дверь: — «Странная девушка!.. Отец ее англичанин, мать итальянка, она родилась и жила все время в России, ее отец был наездником, она кончила в Петербурге гимназию и курсы. Она всегда молчит и она собирается обратно в Россию». А девушка долго шла пешком, вышла на Стрэнд, к Трафалгер-скверу, к Вестминстерскому аббатству, — шла мимо веков и мимо цветочных повозок на углах улиц. Темзы уже не было видно во мраке и тумане, но был час прилива, шли ощупью корабли и кричали сирены. У Чарингкрасса мисс Эрмстет спустилась в андерграунд и под землей, под Темзой, поезд ее помчал на Кляпхэм-роад, в пригород, в переулки с заводскими трубами и с перебивающими друг друга, фыркающими динамо мастерских. Там, в переулке, на своем третьем этаже, в своей комнате девушка неулучно стала читать газеты. В полночь заходил отец и сказал: —

«Я все думаю, когда же напишет твой профессор? — Какие замечательные лошади были на петербургских бегах, какие лошади!.. Какие были лошади, если бы ты знала!» — В полночь она открывала решетчатое, однорамное, как во всех английских домах, окно, рядом во дворе фыкало динамо маленькой фабрички, и в комнату облаком попола коричневый туман. Она решила, что завтра город замрет в тумане, не понадобится итти в оффис, — можно было не спешить. Она растопила камин, переделась на ночь, белье на ней было — по-английски — шерстяное. В халатике она ходила мыться, и долго потом лежала в кровати с книгой о Земле Франца-Иосифа, руки ее были смуглы и девически-худощавы. Земля Франца-Иосифа была в ее руках. — Где-то рядом на башне часы пробили три, и закашлял отец, не мог откашляться — —

И в этот же день на острове Новая Земля в Северном Ледовитом океане из Белужьей губы должно было уйти в Европу, в Россию, судно «Мурманск». Это было последнее судно, случайно зашедшая экспедиция, и новый корабль должен был притти сюда только через год, новым летом. Дни равноденствия уже проходили. Были сумерки, туман мешался с метелью, на земле лежал снег, а с моря ползли льды. Горы были за облаками. Команда на вельботах возила с берега пресную воду. Гидрографическая экспедиция шла от солнца в двенадцать часов ночи, от берегов Земли Франца-Иосифа, куда не пустили ее льды; она заходила под 79° 30' северной широты, чтобы взять там остатки экспедиции Кремнева; на Маточкином Шаре она оставила радиостанцию: через неделю она должна была в Архангельске оставить страшное одиночество льдов, тысячемильных пространств, мест, где не может жить человек, — через десять дней должна была быть Москва, революция, дело, жены, семьи; экспедиция была закончена. «Мурманск» еще утром отгудел первым гудком, матросы

спешили с водой. — На всей Новой Земле жили — только — двадцать две семьи самоедов. Самоеды, опалевшие от спирта, просочившегося на берег с судна, бестолково плавали на своих ёлах от берега к пароходу. Начальник экспедиции, который был помыслами уже в Москве, писал экспедиционное донесение. Каюта начальника экспедиции была на спардэке, горело элекгричество, начальник сидел за столом, а на пороге сидел самоедин, напившийся с утра, теперь трезвевший и клянчивший спирта, предлагавший за спирт все, — песцовую шкурку, жену, ёлу, малицу. Начальник молчал. Когда самоедину надодало повторять одни и те же слова о спирте, он начал петь, по получасу одно и то же:

Начальник сидит, сидит,  
Хмурый, хмурый — —

Начальник обдумывал, какими словами написать в донесении о том, как север бьет человека: — —

— — на радиостанции X, в полярных снегах, в полугодовой ночи, в полярных сияниях, зимовали пять человек, отрезанных тысячами верст от мира; они устроили экспедиции обед, начальник радиостанции положил себе в суп соли, — и тогда студент-практикант, проживший год с начальником, закричал: — «Вы положили себе соли, соли! Вы положили столько, что нельзя есть супа! Вылейте его! Иначе я не могу!» — начальник сказал, что соли он положил в суп себе и положил соли так, как он любил; студент кричал: — «Я не могу видеть, вылейте суп! я требую!» — студент заплакал, как ребенок, бросил салфетку и ложку, убежал и проплакал весь день. Пятеро, они все перехворали цынгой; они не выходили из дома, потому что каждый боялся, что другой его подстрелит, и они сидели по углам и спали с винтовками, — они, из углов, уговаривались итти из дому без оружия, когда

метелями срывало антенны и всем пятерым надо было выходить на работу; все пятеро были сумасшедшими.

— «Мурманск» снял в самоедском становище на Новой Земле уполномоченного от Островного Хозяйства. Это был здоровый, молодой, культурный человек; он прожил год с самоедами. И он сошел с ума: он бросил курить — и запретил курить всему самоедскому становищу, — он прогнал от себя жену и запретил самоедам принимать ее, и она замерзла в снегу в горах, когда пешком пошла (собак он не дал ей) искать права и спасения за сто верст к соседним самоедским чумам; он запретил самоедам петь песни и родить детей; когда «Мурманск» пришел в бухту, он стал стрелять с берега, и ни одна самоедская ёла не пошла навстречу кораблю; команда с корабля пошла на вельботе к берегу, — он заявил, что не разрешает здесь высаживаться, ему показали рейсовую путевку судна, — он ответил, прочитав: — «в бумаге написано — «на берега Новой Земли», — а здесь не берег, а губа», — и его, сумасшедшего, теперь везли, чтобы отдать в больницу.

— (гибели экспедиции Николая Кремнева посвящена эта повесть; Кремнев возвращался с «Мурманском»).

Начальник обдумывал, как записать все это в экспедиционное донесение. Самоедин цел:

Начальник сидит, сидит,  
Хмурый, хмурый — —

В бухте была зеленая вода, за бухтой в море синели льды. Берег уходил во мглу; снег на горах, сливаясь с облаками, был сер, и черною грязью вдали казались еще не замеченные снегом горные обвалы и обрывы. Самоедского становища в тумане не было видно. Была абсолютная тишина. Пришел матрос, сказал: — «Вода взята, ушел последний вельбот, капитан скомандовал в машину нагонять пары. Капитан спрашивает давать второй сви-

сток, чтобы все были на борту?» — «Давайте», — ответил начальник. Самоедин на пороге посторонился матросу, матрос весело сказал самоедину: — «Ну, а ты, Обезьян Иваныч, бери ноги в руки, катись на берег, а то увезем в Европу!» — Помолчал и добавил строго: — «катись, катись, надоел, — сейчас уйдем в море!» — Пароход сипло загудел, надолго, раз и два, — и в горах отдалось сиплое эхо, — вахта пошла на места. Начальник прошел к капитану на мостик. Самоеды — нырками — плавали около парохода. Через полчаса пароход должен был выйти в море, в неделю пути океанами и просторами, чтобы через десять дней была Москва: это был последний пароход с Новой Земли, Новая Земля оставалась на год во льдах, холоде и мраке. Экипаж был уже на борту, вельбот поднимали на палубу.

И тогда от берега по воде с быстротою полета птицы помчала ёла, человек из нее кричал, останавливая. Ёла ласточкой прильнула к шторм-трану, и с ловкостью обезьяны на палубу влез самоедин, в малице, в пимах, испуганный и запыхавшийся. И на палубе сразу исчезла его ловкость и быстрота, — он стоял смущенный и растерянный. И те самоеды, что слезли было с судна, вновь поднялись на него, стали у фальшборта, взволнованные, шумливые, враждебные. Тот, что влез первым, — вдруг раскис и заплакал, по-бабьи гугниво. Начальник спросил его: — «В чем дело, чего ты хочешь?» — Тогда зашумели все самоеды, и тогда узналось, что этот самоедин, прознав про стоянку судна, приплыл из-за сотни верст, из своего становища, — что в прошлом году он заказал привезти себе из Европы десять семилинейных ламповых стекол — и ему привезли семь десятилинейных, он ждал стекло целый год, — он будет ждать еще год, — но — чтобы обязательно ему их привезли, иначе он не хочет России, она ему не нужна, ему все равно — летит там



или царь, ему нужно десять семилинейных, а не семь десятилинейных, — и тогда он отдаст эти семь десятилинейных! — На судне не нашлось семилинейных стекол, но нашлась двухлинейная жестяная лампочка со стеклами, ее отдали самоедину. И еще на складе оказалась коробка с гривенничными компасами, такими, какие матросы любят вдевать в петлицу вместо брелока к часовой цепочке: каждому самоедину был дан такой компас. — Тогда капитан крикнул с мостика, облегченно и с напускною строгостью: — «Эй, тылки-вылки, марш с корабля, живо!» — И самоеды с ловкостью обезьян посыпались за борт на свои ёлы. Третий отревел гудок, загремела лебедка, принимая якорь.

Через час земля исчезла во мраке, была уже ночь и в облаках серебрела луна. Здесь был ветер, разводил волну; судно, побряхтывая, ложилось на волны, на бак заплескивалась вода, иногда в такелаже начинал ныть ветер. Судно замерло в ночи. На капитанском мостике в рулевой стояли вахтенный матрос и штурман. На румбе был юг, кругом были холод и мрак.

— Через неделю дома! — сказал матрос.

Начальник у себя в каюте писал вахтенное донесение. Рядом в каюте младшие сотрудники цеди песни в предчувствии земли, Москвы. — А самоедин, тот, что год ждал семилинейных стекол, шел в этот час обратно к себе в становище. За пазухой у него были лампа и компас, за плечами висела винтовка системы Браунинг. Лед сгуживался у берегов; когда по пути вставали большие ледяные поля, самоедин вылезал на лед, вваливал себе на голову свой каяк и шел пешком, — потом опять плыл по воде. О полночь он устроился спать на берегу, на снегу; за пазухой у него было сырое оленьё мясо, он поел его; потом лег на снег, поджав под себя ноги, прикрыв себя

каяком. Лампочку, чтобы не раздавить, он поставил в сторонку. —

И в этот же час — еще за полтысячи верст к северу — на Шпицбергене, на жилдом Шпицбергене, в Айс-фиорде, в Коаль-сити, на шахтах — одиночествовал инженер Бергринг, директор угольной Коаль-компании. Здесь не было тумана в этот час и была луна. Домик прилепился к горе ласточкиным гнездом; вверх уходили горы и шел ледник; гора была под домиком, и там было море, и там, на том берегу залива, были горы, все в снегу, — была луна, и казалось, что кругом — не горы, а кусок луны, луна сошла на землю. Была невероятная луна, диаметром в аршин, и блики на воде, на льдах, на снегу казались величиной в самую луну, сотни лун рождались на земле. И над землей в небе стояли зеленоватые столбы из этого мира в бесконечность — столбы северного сияния, они были зелены и безмолвны. Домик был построен, как строят вагоны, из фанеры и толя, привезенных с юга, потому что на Шпицбергене ничего не растет, и он был величиной в русскую теплушку: такая теплушка прилипла к горе. И все же в домике было четыре комнаты, кабинет был завален книгами и там стоял граммофон, а в конторе стоял радиоаппарат, и в каждой комнате было по кафельному маленькому камину. — Человечество не может жить на Шпицбергене — север бьет человека, — но там в горах есть минералогические залежи, там пласты каменного угля идут над поверхностью земли, — и капитализм — —

— — ночь, арктическая ночь. Мир отрезан. Стены промерзли, — мальчик круглые сутки топил камин. За стенами — холод, то, что видно в окно, — никак не земля, а кусок луны в синих ночных снегах, и Полярная звезда прямо над головой. Инженер Бергринг долго слушал граммофон, мальчик принес новую бутылку виски, — инже-

нер Бергринг подошел к окну, там луна сошла на землю. В это время в конторе радио вспыхнул катодной лампочкой, — оттуда, из тысячи верст, из Европы, зазвучали в ушах таинственные, космические пуанты и черточки: — ч-ч-ч-та-та-тсс... — —

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

«Станция 18.  $\varphi$   $76^{\circ}51'$ ,  $\lambda$   $41^{\circ}0$  mt, 5 ч. 0 м. 22—VIII.

Станция пропущена ввиду большого шторма. Ветер 6 баллов волнение, 9, судно кляло на волну на 45.

Станция 19.  $\varphi$   $77^{\circ}31'$ ,  $\lambda$   $41^{\circ}35'$ , 372 mt, 13 ч. 0 м. 22—VIII.

Подводные скалы с зарослями баланусов, гидроитов, асцидий и мшанок. Тралл Сигсби дважды. Оттертралл. Результаты: очень много *Hyperammia subnodosa*, *Ophiura sorsii*, много трубок *Maldanidae*, *Ampharetidae*, много *Euragurus pubescens*, один экз. *sabinea*, 7—*carinata*. В илу найдено до 20 видов корненожек, кроме *Hyperammia* преобладает *Truncatulina labatula*. Обильный мертвый ракушечник, при полном отсутствии живых моллюсков.

Станция 20.  $\varphi$   $77^{\circ}55'$ ,  $\lambda$   $41^{\circ}15'$ , 220 mt, 0 ч. 40 м. 23—VIII.

Из-за льда драгажных работ не было.

Станция 20-bis.  $\varphi$   $77^{\circ}57'$ ,  $\lambda$   $40^{\circ}35'$ , 315 mt, 4 ч. 15 м. 23—VIII.

Станция была сделана сейчас же по выходе из пловучего льда. Драга с параллельными ножами. Шестифутовый тралл Сигсби — —»

Эти станции — за тысячу верст к северу от полярного круга, в штормах, во льдах, без пресной воды, в холоде — были единственной целью экспедиции в Арктику для био-

лога профессора и коммуниста Николая Кремнева, начальника Русской полярной экспедиции, — для того, чтобы через два года, вернувшись с холодов, в Москве, после суматошного дня, после ульев студенческих аудиторий, человеческих рек Тверской и лифтов Наркомпроса на Сретенском бульваре — пройти тихим двором старого здания Первого московского университета, войти в зоологический университетский музей и там сесть в своем кабинете — к столу, к микроскопу, к колбам и банкам и к кипе бумаг. — В кабинете большой стол, большое окно, у окна раковина для промывания препаратов, — но кабинет не велик, под его покрыт глухим ковром, а стен нет, потому что все стены в полках с колбами, баночками, банками, банкищами, а в баночках, банках и банкищах — фиуры, декаподы, асцидии, мшанки, губки, — морское дно, все то, что под водой в морях, — все то, что надо привести в порядок, чтоб открыть, установить еще один закон — один из тех законов, которыми живет мир. Каждый раз, когда надо отпереть дверь, — вспоминается, — и когда дверь открыта, — смотрит из банки осьминог, надо поставить его так, чтобы не подглядывал. — Это пять часов дня. От холодов, от тросов, от цыгги — пальцы рук профессора Николая Кремнева узловаты, — впрочем, и весь его облик сказывает в нем больше бродягу и пиратского командора, чем кабинетного человека, — потому что он русский; но часы идут, полки с банками пыльны и — сначала стереть пыль, отогреть вар, раскупорить банку, промьць *Decapoda*'у — пинцеты, ланцеты, микроскоп — тихо в кабинете: и новые записи в труде, который по-русски начинается так:

«60 станций экспедиции 192\* г. охватывают огромный район. Конечно, сами по себе работы экспедиции недостаточны для того, чтобы го-

ворить о фауне и биоценозах Северных морей во всей полноте, тем более, что они еще не обработаны окончательно.

Однако на основании их мы можем наметить, хотя бы в целях программных и рабочей гипотезы, некоторые большие естественные «районы Северных морей» — —

— что звучит по-немецки, в другой папке:—

Die Expedition im Jahre 192\* hat 60 Stationen erforscht. Letztere sind auf der Weite des Weissen-, Barenz- und Karischen Meeres. Das zoologische Material, welches während dieser Expedition gesammelt wurde, giebt uns das Recht, die eben erwänten Nördische Meere in gewisse Regionen einzuteilen» — —

Профессор Кремнев писал свою работу сразу на двух языках, это так: но море Баренца у Земли Франца-Иосифа и Карское море позади Новой Земли, куда раз в пять лет могут зайти суда, невероятную Арктику, тысячи верст за полярным кругом — он называл только северными морями, никак не Ледовитым Океаном, — точно так же, как, когда океан у восьмидесятого градуса бил волной и льдами, когда Кремнева било море и до судорог мучила тошнота и даже команда балдела от переутомления и моря, Кремнев говорил, не вылезая из своей каюты, не имея сил встать: — «как, разве плохая погода?» — и спардэк на корабле он называл чердаком, а трюм и жилую палубу — подвалом. — Но он твердо знал прекрасную человеческую волю познавать и волишь. И часы в кабинете с микроскопом шли так же медленно и упорно, как они идут на Шпицбергене, и Никитская и Моховая за стенами отмирали на эти часы, безразлично, была ли там осень и фонари ломались в лужах, или шел снег,

укрававший звуки и такой, от которого Москва уходит на десяток градусов к северу и на три столетия назад в глубь веков, — Decapoda устанавливала законы. — А в девять в дверь стучали, приходил профессор Василий Шеметов, физик, здоровался, говорил всегда одно и то же, — «ты работай, я не помешаю»; — но через четверть часа они шли по Моховой, в Охотный ряд, в пивную, выпить по кружке пива, поговорить, послушать румын; тогда за окнами шумихою текла река — Тверская, и было видно — осень ли, зима ль, декабрь или март.

В Судовой Роли было записано рукою Кремнева, начальника экспедиции — —

«Научное снаряжение экспедиции —  
По гидрологии —

Батометров разных систем . . . . . 6 шт.

Лот с храпом, трубки Бахмана, глубомеры Клаузена, вьюшки Томпсона, шкалы Фореля, диски Секки, аппарат Кипша, и пр., и пр. . . . в достаточном количестве.

По биологии —

Микроскопов разных . . . . . 20 шт.

По метеорологии — —

Специальное оборудование и приспособления для зимовки в льдах — —

Охотничье снаряжение — —

— — Экипаж экспедиции — —

— — Задание экспедиции — —»

От второго участника экспедиции, от художника Бориса Лачинова, осталась для Москвы только одна запись, которую он не послал:

«Слышать, как рождаются айсберги, — как рождаются вот те громадные голубые ледяные горы, которые идут, чтобы убивать и умирать

по свинцовым водам и волнам Арктики: это слышать гордо! И это можно слышать только раз в жизни, и только одному человеку на десятки миллионов удастся услышать это. И я не случайно беру глагол слышать: едва ли позволено человеку это видеть, как рождаются айсберги, как раскалываются глетчеры, — ибо человек заплатил бы за это жизнью. Я это слышал здесь, на Шпицбергене, в Стор-фиорде в Валлес-бае, и тогда в том громе и тумане мне показалось, что я слышу, как рождаются миры. — Это — за полторы тысячи верст к северу от полярного круга. — И я могу рассказать о том, что было в Европе, в России в начале Четвертичной эпохи, когда со Скандинавского полуострова ползли на Европу глетчеры, ледники, когда были только вода, небо, камень и льды, и холод, и страшные ветры, такие, которые снежинками носят камни с кулак и с голову человека: я это видел здесь в тысячах верст, — здесь, в Арктике я видел страшные льды, льды, льды, тысячи ледяных верст, страшные ледяные просторы, — воду (вот ту, предательски-соленую, неделями плаваая по которой, можно умереть от жажды, и такую прозрачную, почти пустую, сквозь которую на десяток сажений видно морское дно), — горы (огромные, скалами базальтов и холода, и ледников идущие из моря и изо льдов), — небо, вот такое, с которого в течение почти полугода не сходит солнце (я видел солнце в полночь!), и которое полгода горит Полярной звездой, — причем Полярная стоит в зените, — причем на полгода дня и на полгода ночи — за туманами, мете-

лями, дождями, за всеми стихиями холода, вод и земли, в сущности, надо скинуть со счетов счет на солнце и звезды, оставив счета на извечные мрак, холод, льды и снега. Здесь не живет, не может жить человечество. Мы, покинув «Свердруп», были у острова Фореланд, здесь мы жили, здесь умерло пять моих спутников: на этом острове — на памяти культурного человечества — до нас обследовала остров только одна экспедиция, Ноторста, в 1896 году, — здесь нет человека, здесь не может жить человек, — когда Ноторст высаживался на берег, на шлюпку напала стая белых медведей, занесенных сюда льдами и здесь оголодавших. — Мне — никогда не уйти отсюда. Море, эти десятки дней в безбрежности и мои бреды, мои бредовые яви и явные бредни» — —

«Свердруп» вышел из Архангельска 11 августа, — вышел из черных августовских ночей, чтобы под семидесятым градусом притти в белую арктическую ночь, в многонедельный день, когда небо в полночь темно — н о ч н о е н е б о — только на юге. «Свердруп» стоял у Банковской набережной, потом его отвели на рейд; — потом он ходил на Баккарицу за углем, угля взял до отказа, под углем были и палубы, по фальшборты. Экспедиция задержалась на пять дней: Москва не выслала к сроку посуду — колбы, баночки, банки, банкищи, бидоны. Профессор Николай Кремнев, в морских сапогах до паха, в кожаной куртке и в широкой, как зонт, кожаной поморской шляпе, с можжевелевой тростью в руках, с утра и весь день ходил — на телеграф, в губисполком, в северолес, в береговую контору, на таможду, — в половине пятого он обедал в деловом клубе, выпивал

три бутылки пива и шел в гавань, кричал в сгустившиеся сумерки: — «Со «Свердрупа», — шлюпку!» — уходил к себе в каюту и сидел там один с бумагами и счетами. Ночами в те дни поднималась луна, большая, как петровский пятачок, — Кремнев выходил на капитанский мостик и тихо разговаривал с вахтенным офицером, рассказывая ему, сколько и каких колб, банок и жбанов необходимо ждать из Москвы. — Часть научных сотрудников была занята уборкой, свинчиванием, прилаживанием для моря инструментария. Физик, профессор Шеметов, метеоролог Саговский, врач Андреев и художник Борис Лачинов ездили осматривать Холмогоры и Денисовку, где возник Ломоносов, ездили на взморье к Северо-Двинской крепости, построенной Петром I; там в рыбацьем поселке заходили к ссыльным (*это случайное обстоятельство надо очень запомнить, ибо оно чрезвычайно важно для повести*), — дни стояли пустые, призрачные, солнечные, тихие, — радио приносило вести, что Арктика покойна. — Команда — и верхняя — «рогатки», и нижняя — «духи» — все свободное время проводила на берегу, главным образом в пивных. 9-го пришла посуда, отвал назначен был на 12 часов 10-го, и команда и научные сотрудники всю ночь провели на берегу в притонах. Утром «Свердруп» пошел на девиацию, и стал на рейде, — команда возвращалась на четвереньках, и в половине двенадцатого выяснилось, что главный механик захворал белой горячкой, ловил в машинном чертей. Механика ссадили на берег, скулы Кремнева посереде и обтянулись кожей еще крепче, — задержались на сутки, еще сутки команда лежала костями на спирте. В 3 часа 11-го отгудел последний гудок, таможенный чиновник вручил путевые бумаги, взял выписку для береговой конторы, проводил до Чижевки. Флаг подняли еще с утра, включили радио, — военный тральщик отсалютовал — «счастливым путем» — и пьяная

вахта долго путалась во флажках, чтобы отсалютовать — «счастливо оставаться». Архангельск ушел за Соломбалду. Новый механик стоял у борта, боцман из шланги поливал ему голову, — боцман мыл палубу, механик плакал о жене, оставленной на берегу. Радиист принял первое радиоприветствие из Москвы и весть о том, что у Канина Носа шторм в 8 баллов. — «Свердруп» уносил на себе тридцать восемь человеческих жизней, тридцать восемь человеческих воль. Было тридцать семь мужчин и одна женщина, химичка Елизавета Алексеевна, так не похожая на женщину, что матросы очень скоро приладились — и при ней и ее — обкладывать «большими» и «малыми» морскими «узлами»; — она была из тех женщин, которых родят не матери, а университетские колбы, для коих они и живут; богатырственная, сильнее и выше любого матроса со «Свердрупа», она стояла на спардеке у вельбота и плакала наврыд, прощаясь с землей, как плачут тюлени. Слезы текли по сизому румянцу щек, точно она вымылась и не утерлась, — кэпка съехала на затылок. Около нее стоял метеоролог Саговский, маленький, как гном, в фетровой шляпе, в демисезонном пальто английского покроя, в желтых ботинках, точно он отправлялся на пикник, — он курил трубку и говорил:

— Бросьте, Елизавета Алексеевна! Самое большое прокитаемся год. Вы знаете, если установить причины циклонов и антициклонов, которые возникают в Арктике, — тогда можно сказать, что вопрос о предсказании погоды почти решен. Если бы мы знали, какое давление сейчас, какая температура, сколько баллов ветра — ну, хотя бы на нашем меридиане под 80-м градусом, мы могли бы знать, какая погода будет в России через две недели — —

Сумерки напоззли медленно и безмолвно, на створах вспыхнули огни. «Свердруп» — двухмачтовое, деревянное, парусно-моторное пятисоттонное судно, построен-

ное по планам нансеновского «Фрама» и седовского «Фоки», специально оборудованное, чтобы ходить во льдах — свинчивался, затихал, мылся перед морем. Пьяные ушли по каютам. Мудюгский маяк отгорел сзади впереди возник Знаменский, — впереди было море. —

И тогда «Свердрупу» суждено было еще раз вернуться к земле, к родной земле — последний раз. — Если человеку, живущему на земле, придется когда-нибудь услышать вызов радио — S. O. S., — пусть он знает, что это гибнут в море человечески души, страшно гибнут в этой страшной чаше вод и неба, где внизу сотни метров морских мутей и квадрильоны метров вверху — бесконечностей, и больше ничего. S. O. S. — это пароль, который кидает радио в пространство, когда гибнет судно, и он значит: «—спасите нас, спасите наши души!» — В вахтенном журнале «Свердрупа» возникла следующая запись:

#### А К Т

«192\* года, августа 12 дня, мы, нижеподписавшиеся, капитан э/с «Свердруп», Алехин Павел Лукич, и капитан и владелец парусного судна «Мезень», Поленов Марк Андреевич, в присутствии начальника Русской Полярной Экспедиции проф. Кремнева Николая Ивановича, составили настоящий Акт о нижеследующем: 11 авг. в 23 часа 30 мин. в 65°04' N и 39°58'0" W, идя компасным курсом N 39, общая поправка 10, э/с «Свердруп» наскочил на шедшее с грузом рыбы в Архангельск под полной парусностью при ветре NW силою в 1 балл, при видимости за темнотой ночи от 30 до 40 саженей п/с «Мезень», ударив его форштевнем в правый борт против форвант. При ударе полу-

чился пролом, от которого парусник начал наполняться водой и погружаться, ложась на левый борт. Команда «Мезени» перешла на «Свердрупа» в момент столкновения по бушприту, капитан же перешел на «Свердрупа» в тот момент, когда через несколько минут «Мезень» надрейфовала на нос «Свердрупа», причем последовал легкий вторичный удар. После этого «Свердруп» отошел назад, была спущена шлюпка и послана команда со штурманом Медведевым для осмотра «Мезени» и выяснения способов спасения. По прибытии шлюпки было решено, по просьбе капитана «Мезени», подойти к ней и взять ее на буксир бортом; в это время «Мезень» постепенно ложилась на левый борт. При подходе, вследствие темноты и дрейфа, «Мезени» был нанесен «Свердрупом» третий удар, в корму, причем «Мезень» уже лежала на левом борту. Видя, что взять бортом на буксир «Мезень» невозможно, «Свердруп» подошел к ней кормой и начал шлюпкой завозить на нее буксиры, которые были закреплены за правый становой якорь «Мезени». В 0 час. 40 мин. 12 авг. была закончена заводка буксиров и начали буксировать «Мезень» по направлению к плувучему маяку Северо-Двинский. В момент, следующий за столкновением, на п/с «Мезень» огней нигде, кроме окон кают-компании, не было видно, и этот огонь был виден, пока «Мезень» не погрузилась в воду. На «Свердрупе» никаких повреждений не оказалось. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах и записан на страницу Вахтенного Журнала «Свердруп» — —

Так, было. Экспедиционное судно «Свердруп» свинтилось, убралось, шло в море, чтобы месяцы не видеть ни людей, ни человеческой земли, маяк отгорел свади, люди, после бестолочи Архангельска, распозались по каютам и притихли. Художник Лачинов долго стоял у кормы, смотрел, как из-под винта выбрасывались светящиеся фосфорически медузы: от них эта черная ночь, ночной холод, беззвездное небо, ветер, тишина просторов и плеск воды за бортами были фантастичны, медузы возникали во мраке воды, всплывали вверх и вновь исчезали в мути, погасая. Потом Лачинов пошел в кают-компанию, многие уже ушли спать. Потому что судно было отрезано на месяцы от мира, было колбой, из которой никуда не уйдешь. Лачинову все время казалось, что все они здесь на судне — как в зиме в страшной провинции, где никто никуда ни от кого не уйдет и поэтому надо стремиться быть дружественным со всеми и за всех, и забыть все, что не здесь. В кают-компании перед вахтой в полночь сидел второй штурман Медведев, остряк, играл на гитаре и пел о Шнеерзоне, о свадьбе его сына в Одессе, облетевшей весь мир. Кинооператор, точно такой, какими судьба судила быть кинооператорам, разглагольствовал о разных системах киноаппаратов. Механик мотал очумевшей головой, ничего не понимая. — И тогда все услышали отчаянный человеческий крик, и толчок, и треск, и то, как осел «Свердруп», и как он дернулся с полного хода вперед на полный назад. Кто-то пробежал мимо в одном белье. Лачинов и все, бывшие в кают-компании, побежали на бак. Ночь была темна и холодна, беззвездна, и ветер шел порывами. Во мраке перед носом «Свердрупа» стоял корабль, повисли над «Свердрупом» белые паруса, уже обессилевшие. И из мрака, из-за борта «Свердрупа» на бушприте появились человеческие головы людей, молодых и стариков, обезумевших людей, которые пла-

кали и кричали, — орали все вместе, одно и то же, безумно: —

— Что вы делаете, ааая? Что вы делаете?!.. —

Люди толпились раздетые; горели прожекторы, в клочья разрывая мрак, отчего мрак был только сильнее — и нельзя было понять, кто приполз из-за борта, от смерти кто — раздетый — прибежал с жидкой палубы. Кто-то скомандовал полный назад, стоп, полный вперед, — во мраке под парусами гибнущего парусника, в свете прожекторов, бегал, как бегают кошки на крыше горящего здания, человек, махал руками, орал так, что достигало только одно слово — «под либорт! под либорт!» — был радиоаппарат, — и тогда ударил вновь «Свердруп» в борт парусника, и с ловкостью кошки возник из-за борта в свете прожекторов новый человек, бородатый старик, и из разинутой пасти летели слова: — «черти! черти! черти! голубчики! — под либорт, под либорт! берите, берите!»...

А во мраке гибла белая шхуна, повисли бессильно паруса, клонились к воде. Ни одного огня не было на шхуне и только мирно, по-зимнему горела семилинейная лампочка на корме в кают-компании. Вскоре узналось, что старик, влезший на «Свердрупа» последним, — капитан парусника, что он сорок семь лет ходит по морям, четырежды погибнул — и четыре громадных креста стоят на Мурмане около сотен других, поставленных в память спасения от смерти в море; — и что судовую икону — Николу-угодника, — которой благословил отец сына сорок семь лет назад — Николу успел взять с собой капитан [это обстоятельство настоятельно просил капитан Поленов внести в Акт, и поклялся при всех, что пятый поставит крест он у себя в Терибейке, на Мурмане]; — что «Мезень» выдержала пятидневный шторм, «держали бурю», и тут, переутомленные, в затишье заснули, проспали

вахту, — а «Свердруп» был пьян: тысячи верст просторов, сотни верст направо и налево, и вокруг, — и надо же было двум суднам найти такую точку в этих просторах, чтобы одному из них погибнуть; — одно утешение — теория вероятности — не «Мезень» — «Свердрупа», а «Свердруп» — «Мезень»! — Гудело радио, нехорошо, сиротливо. Белые паруса «Мезени» легли на воду, — и до последней минуты горела, горела сиротливым огнем в кают-компании на «Мезени» керосиновая семилинейная лампочка.

Лачинов чувствовал себя весело и покойно, но руки чуть-чуть дрожали. И самым страшным ему был огонек в кают-компании на паруснике, этот домашний, мирный огонек, точно по осени в лесной избушке, — этот огонек бередил своей неуместностью. Лачинов думал, что, если бы он прочел в книге об этой страшной ночи, когда в ветре и мраке никто не спал, а старики-поморы, которые появились из-за борта, плачут от лютого страха смерти, — об этом паруснике, который на глазах, вот с лампочкой в каюте, затонул и повалился на борт, — вот о той лодке, которую «Свердруп» спускал на воду и которая пошла к тонущему судну, а ей кричали, чтоб осторожней, чтобы не затыкнуло в воронку, если корабль пойдет ко дну, — если бы Лачинов прочел это в книге, ему было бы холодно-вато и хорошо читать. И он думал о том, что любит читать книгу Жизни — не на бумаге. Лачинов стоял у борта, в воде возникали и меркли фосфорические медузы, начинало чуть-чуть светать, «Свердруп» шел к берегу. К Лачинову подошел Саговский, сказал:

— А у меня новый друг появился. Смотрите, какой котик славный. Его штурман Медведев привез с «Мезени», — в руках у него был котенок. — Перепугались?

— Нет, не очень, — ответил Лачинов. — Смотрите, какая медузья красота, — но, — вот тот огонек у кормы

у меня все время смешивается со скверненьким, маленьким человеческим страшиком! —

— А мы можем послать еще по письму, мы идем к берегу, — сказал Саговский. — Я уже написал.

— Нет, я никому ничего не буду писать, — ответил Лачинов.

...А потом было море, в труде и штормах. Шторм бил семнадцать дней.

Еще в гортле Белого моря встретил шторм. «Свердруп» по 41-му меридиану шел на север, к Земле Франца-Иосифа, с тем, чтобы сделать высадку на Кап-Флоре, в этой Мекке полярных стран, где дважды повторилось одно и то же, когда гибнущий Нансен, покинувший свой «Фрам», встретил на Кап-Флоре англичанина Джексона, — и когда гибнущий русский штурман Альбанов, покинувший далеко к северу от Земли Франца-Иосифа гибнущую, затертую льдами «Анну» Брусилова, два месяца шедший по плывущему льду на юг к Земле Франца-Иосифа, ушедший с «Анны» с десятью товарищами и дошедший до мыса Флоры только с одним матросом Кондратом (ибо остальные погибли во льдах), — встретил на Кап-Флоре остатки экспедиции старшего лейтенанта Седова — уже после того, как Седов, в цыгане, в сумасшествии, с револьвером в руках против людей, на собаках отправился к полюсу и погиб во льдах.

Начальника экспедиции профессора Кремнева — одного из первых свалило море («море бьет»), но он выползал на каждой станции из своей каюты, серый, бритый, с обесцвеченными губами, — лез на спардэк, стоял там молча и, если говорил, то говорил только одну фразу:

— Мы делаем такую работу, которую до нас не делало здесь человечество, — мы идем там, где до нас не было больше десятка кораблей! — —



Через каждые шесть часов — через каждые тридцать астрономических минут — на два часа были научные станции, и семнадцать дней — до льдов — был шторм. Жилая палуба была в трюме, в носовой части корабля; все было завинчено, люки были закупорены; судно — влезая на волны и скатываясь с них — деревянное судно — скрипело всеми своими балками и скрепами; судно шло уже там, где вечный день, и в каютах был серый сумрак. Люди, по-двое в каюте, лежали на койках, когда не работали, в скрипе и духоте. На судне было привинчено и привязано все, кроме людей, — и все же не было торчка, с которого не летело бы все: люди, лежа в койках, то вставали на ноги, то вставали на головы: — качая, крепил на — больше, чем на  $45^\circ$ , ибо больше не мог уже показывать кренометр, сошедший в капитанской будке с ума. Сначала были ясные, упругие, синие дни под белесо-синим небом (ночью неба не было, а была муть, похожая на рыбью чешую и на воду), — потом были метели, такие метели, что все судно превращалось в ком снега, — потом были туманы, и тогда спадал ветер. И кругом были небо, вода — и больше ничего в этих холодных просторах. Иногда ветер так свирепо плевался, так гнал волну, что «Свердрупу» приходилось вставать, идти полным ходом против ветра, рваться в него — и все же ветер гнал назад. Ветры были нордовые и остовые. Семнадцать дней подряд только рвал ветер, выл ветер, свистел ветер — и катила по «Свердрупу» зеленая волна.

Если стоять на капитанском мостике, где всегда в рубке у руля два вахтенных матроса и штурман, и смотреть оттуда на судно, — мертво судно; вот выполз на палубу метеоролог Саговский, полез на бак, к метеорологической будке, качнуло, обдало водой, и Саговский ползет на четвереньках, по-кошачьи, лицо его сосредоточенно и бессмысленно, и на лице страх, — но вот еще качнуло, и

ноги Саговского над головой, и он топорщится, чтобы не ползти вперед, а пиджак его залез ему на голову, — и потом Саговский долго мучится у метеорологической будки, запугав ногу в канате, чтобы не слететь. — Одним из первых слег Кремнев, потом повалились все научные сотрудники, предпоследним свалился Лачинов, последним Саговский; первый штурман хворал, «травил море»; кают-компания опустела, хворал и стювард. Нельзя было ходить, а надо было ползать; нельзя было есть, потому что не хотелось и потому что ложка проносилась мимо рта, и потому что все тошнило обратно (матросы требовали спирта); нельзя было умываться, потому что воды до лица не донесешь, не до мытья и — стоит только выйти на палубу, как сейчас же будешь мокрым, в соленой воде, которая не моет, а саднит сбитые места. Нельзя было спать, потому что раза четыре за минуту приходилось в постели становиться на голову и за постель надо было держаться обеими руками, чтобы не вылететь. И над всем этим — этот — в этих мертвых просторах визг, вой и скрип, которым визжало, выло и стонало судно, — такой визг и скрип на жилых палубах в трюме, в котором пропадал человеческий голос — — Через каждые тридцать астрономических минут — через каждые тридцать морских миль по пути к северу — приходил на жилую палубу из штурвальной вахтенный матрос, стучал в двери кают и орал, чтобы перекричать скрип и вой:

— На вахту! Кто в очереди? Через пятнадцать минут станция! — На вахту! — —

В половине восьмого утра, в двенадцать дня, в четыре дня, в восемь вечера на жилую палубу приползал и бил в гонг к чаю, обеду, кофе, ужину стювард, — но столы в кают-компании были похожи на беззубые челюсти стариков, где одиноко торчали штурмана, механик и Саговский, — гонг бессильно надрывался на жилой палубе.

И через каждые четыре часа от полночи отбивала вахтенная смена склянки. И часы обедов, и часы вахт — были астрономически условны в этих неделях белесой мути.

Кинооператор, которого всего истошнило, который стал походить на смерть, просил, чтобы ему дали револьвер, чтоб он мог застрелиться. Доктор говорил о морфии. Зоолог — он замолчал на все дни; Лачинов, который был с ним в одной каюте, наблюдал, как он провел первые пять суток: он лежал на четвереньках на койке, подобрав под себя голову и ноги, держась руками за борта, — пять дней он не вставал с койки и не сказал ни слова; потом он уполз из каюты и два дня пролежал у трубы на спардэке, это были дни метели. — Лачинов назвал его в каюту, он пришел, лег, — вскочил через черверть часа и больше уже не возвращался в каюту — до льдов, когда качка прошла, — он говорил, что он не может слышать скрипа жилого трюма, скрип ему напоминал о его «страстях»: тогда, пять первых суток на четвереньках, он ждал смерти, боялся смерти! — скрип трюма напоминал ему те мысли, которые он там передумал, — он не любил об этом говорить. — Лачинов видел со спардэка, как Саговский пошел к своей будке, — качнуло, окутало водой, — и человек стал на четвереньки и пополз, и лицо его исказилось страхом. —

«Свердруп» шел вперед, на румбе был норд — —

— на жилую палубу пришел вахтенный матрос, дубасил в двери, кричал:

— На вахту! Кто в очереди?

Встали в половине первого ночи. Стальное небо, снег, ветер, все леденеет в руках. Гидрологи, трое, в том числе Лачинов, поплыли на корму, кинули лот, триста метров. Потом стали батометрами брать температуру и самую воду с разных глубин: триста метров, двести, сто, пятьдесят, двадцать пять, десять, пять, ноль; температуру с по-

правками записывали в ведомости, воду разливали по бутылкам; химик в лаборатории определял состав воды, ее насыщенность кислородом, прозрачность. Батометр надо нацепить на трос, опустить в глубину, держать там пять минут, — и потом выкручивать вручную трос обратно: плечи и поясница ноют. Гидрологи кончили работу в половине четвертого, пошли по каютам обсыхать — загремела лебедка, бросили тралл. Второй раз скомандовали на вахту в 11 дня, снега не было и был туман, — кончили в час дня, пошли по каютам, обсыхать. В половине восьмого вечера опять пришел вахтенный матрос, задубасил, заорал:

— На вахту! Кто в очереди? —

и тогда к начальнику экспедиции пошла делегация; половина экипажа научных сотрудников не вышла на работу. Кремнев один сидел на спардэке около трубы, руки он спрятал рукав в рукав; губ у него не было, ибо они были землисто-серо-сини, как все лицо; он горбился и его знобило, и он смотрел в море. К нему на спардэк приползли научные сотрудники, впереди полз профессор Пчелин, не выходявший из каюты с самого Канина Носа; сзади ползли младшие сотрудники; люди были одеты пестро, еще не потеряли вида европейцев, еще не обрели самоедского вида; все были злы и измучены. Профессор Пчелин, без картуза, в меховой куртке и брюках на выпуск, поздоровался с Кремневым, сел рядом, поежился от холода и заговорил:

— Николай Иванович, меня уполномочили коллеги. Никаких работ в такой обстановке вести нельзя, мы все больны, это только трата времени, — мы предлагаем итти назад, — и замолчал, ежась.

Кремнев смотрел в море, медленно пожевал безгубными своими губами, тихо сказал.

— Пустяки вы говорите. Тогда не надо было бы и огород городить, — понимаете, — городить огород? Все в порядке вещей — море, как море.

— Тогда высадите нас на Новую Землю в Белужью губу, — сказал Пчелин. — Ведь мы все перемрем здесь. — Конечно, в Белужью губу, — ну ее к чорту, вашу экспедицию, товарищ Кремнев! — закричал, толкаясь вперед, кинооператор.

Кремнев все смотрел в море, тихо сказал:

— Пустяки вы говорите. Итти вперед необходимо. Что же, вы будете целый год жить у самоедов?

— Станции мы делать не будем, не выйдем на вахту. Мы все больны! Смотрите, какая качка. Мы не можем!

Накатила волна, судно накренилось, покатались брызги, — кинооператор полетел с ног, пополз к борту, заорал в страхе:

— Ну вас всех к чорту, — ведь он, сволочь, виляет, как сука... в Белужью губу!

— Ну, разве это сильная качка? — спросил Кремнев.

— Да это уже не качка, а шторм! Мы станции делать не будем, мы не можем!

— Тогда отдайте приказ, чтобы стали отштормовываться. Станцию сделать здесь необходимо, будем ждать, когда море ляжет. Меня самого море бьет не хуже вас. Выкиньте меня за борт, тогда делайте, что хотите — —

От этого разговора в экспедиционном журнале осталась только одна запись:

«Станция 18.  $\varphi$  76°51',  $\lambda$  41°0', ? mt, 5 ч. 0 м. 22—VIII.

«Станция пропущена ввиду сильного шторма. Ветер — 6 баллов, волнение—9, судно клало на волну на 45».

На румбе был норд.

В этот день выяснилось, что радио «Свердрупа» уже никуда не достигает, рассыпаясь, теряясь в той тысяче с лишком верст на юг к полярному кругу, что осталась позади «Свердрупа». Ночью штормом сорвало антенны, утром их натягивали заново, матросы лавили по вантам, качаясь в воздухе над морем, — и, когда натянули, радиист начал шарить радиоволнами в просторах: просторы молчали, безмолвовали. Но в этот день было принято последнее радио с земли — из Москвы с Ходынки. Оно гласило следующее: дошло так — —

«22/VIII. Всем, всем, всем. Схема из Москвы № 51. Украине поступление единого сельско-хозяйственного налога усиливается точка первый срок взноса десятому сентября... (пропущено)... Киевщине обсуждается борьба тихоновской автокефальной церковью точка борьбе церковники не останавливаются ни пред какими средствами зпт крадут друг друга церковную утварь совершают различные бесчинства тчк селе Ставиловке автокефалисты собрав всего села собак загнали их тихоновскую церковь зпт селе Медведном поймав тихоновского попа раздели его доната привязали дереву где он пробыл таком положении целый день тчк тихоновская автокефальная церковь опозорена не только глазах населения но среди священнослужителей у которых сохранились остатки честности тчк последнее время губернии отрелось сана 46 священников абзац — —»

Так простилась земля со «Свердрупом». — Лачинов в этот день свалился от моря. Он ходил в радиорубку, читал сводку — эту, пришедшую сюда, в тысячи верст, в просторы вод, в одиночество, когда «Свердруп» никуда уже не мог бросить о себе вести. — Из радиорубки он шел лабораторной рубкой, тут никого не было, тогда он услыхал, как в метеорологической лаборатории кто-то говорит вполголоса, утешая, — Лачинов подошел к двери и увидел: на кор-

точках сидел Саговский, протягивая руки под стол, и говорил:

— Ну, перестань, ну, не мучься, милый, — ну, потерпи, — всем плохо.

— С кем это вы? — спросил Лачинов.

— А я — с кошечкой, с Маруськой, — ответил Саговский. — Ведь никто про кошечек не позаботится, а их море бьет хуже, чем человека. Я тут под столом картонку от шляпы приспособил, сажаю туда котешек по очереди, чтобы отдохнули немного в равновесии. Совсем измучились котешки!—

И Лачинов понял — самый дорогой, самый близкий ему человек — в этих тысячах верст — этот маленький, слабый человек, метеоролог Саговский: вот за этих котят — к этим котяткам и Саговскому — сердце Лачинова сжалось братской нежностью и любовью. Лачинов подошел к Саговскому, сказал — не подумав — на ты:

— Ну-ка, покажи, покажи — —

и вдруг почувствовал, как замутило, закружилась голова, пошли перед глазами круги, все исчезло из глаз, — и тогда послышались в полусознании нежные, заботливые слова:

— Ну, вставай, вставай, голубчик, — пойдем, к борту пойдем, я отведу, смотри на горизонт, я подожду, — иди, милый! — и слабые, маленькие руки взяли за плечи. — Мне, думаешь, легко? — я креплюсь!..—

У борта в лицо брызнули соленые брызги. — За бортом этой колбы, которая звалась «Свердруп», плескалась и ползала зеленая, в гребнях, жидкая муть, которая зовется водой, но которая кажется никак не жидкостью, а — почти чугуном, такой же непреборимой, как твердость чугуна, — чугунная лирика страшных просторов и страшного одиночества, — тех, кои за эти дни путин ничего не дали увидеть, кроме чаек у кормы корабля, да

черных поморников, да дельфинов, да двух китов, — да — рава два — обломков безвестных (погибших, поди, разбитых, — как? когда? где?) кораблей.... — Впереди небо было уже ледяное, уже встречались отдельные льдины, в холоде падал редкий снег, была зима. — Склянка пробила полночь. — Лачинов, большой и здоровый человек, взглянул беспомощно, — беспомощно, бодрясь, улыбнулся.

— Пустяки, — вот глупости! —

Саговского матросы прозвали — от него же подхватив слова — Циррус Стратович Главцогода, — Циррус сказал заботливо:

— Ты не стесняйся, вставь два пальца в рот — и пойдilahь полежать, глаза закрой и качайся... Вот придем на землю, я всем знакомым буду советовать гамак повесить, валечь туда на неделю и чтобы тебя качали, что есть мочи семь дней подряд, а ты там и пей, и ешь, и все от бога положенное совершай!.. А то какого чорта... —

Лачинов улыбнулся, оперся о плечи Цирруса и медленно пошел к трапу на жилую палубу. — На жилой палубе шел арию Ленского кинооператор: он был когда-то оперным актером и теперь, когда его не тошнило, шел арии или рассказывал анекдоты и о всяческой чепухе московского закулисно-актерского быта. Лачинов задержался у двери, опять замутило, — кинооператор лежал, задрал ноги, и орал благим матом, штурман с гитарой сидел на койке. — «А то вот артист Пикок», — начал рассказывать кинооператор. Лачинов также знал эти — пусть апельсиновые — корки московских кулис и подумал, что Москва, вон та, что была в тысячах верст отсюда, — только географическая точка, больше ничего. — Лачинов, бодрясь, шагнул вперед, вошел в каюту доктора, стал у притолоки, сказал:

— Сейчас отбили склянку, полночь, на палубе светло, как днем. — В Москве — благословенный августовский вечер. На Театральной площади нельзя сесть в трамвай, женщины в белом. У вас на Пречистенке в палисадах цветут астры, и за открытым окном рассмеялась девушка, ударив по клавишам. Полярная звезда где-то в стороне. Вы пришли домой... — Вы не знаете, какой сегодня день, вторник, воскресенье, пятница? — Впрочем, Полярной мы еще не видели, мы только по склянке узнаем о полночи. — В театре... —

Доктор лежал на койке головою к стене, от самого Канина Носа он не раздевался и почти не вставал — лежал в кожаной куртке, в кожаных штанах и в сапогах до паха, — доктор, с лицом, как земля, и заросшим черной щетиной, медленно повернулся на койке и медленно сказал:

— Вы получите сапогом, если будете меня деморализовать! — доктор говорил, конечно, шутя, — конечно, серьезно.

— Театры еще... — начал Лачинов и замолчал, почувствовав, что подступило к горлу, закружилась голова, пошли под глазами круги и — все исчезло —

... Лачинов бодрился все дни, ходил в кают-компанию, обедал, работал, в досуге забирался на капитанский мостик, где всегда велись нескончаемые разговоры о море, о портах и гибелях. На капитанском мостике в рубке штурман Медведев рассказывал, как он тонул, погибнул в море, — он, юнгой, ходил на трехмачтовом промысловом паруснике, на его обязанностях лежало, когда поморы шли из Тромсэ и пили шведский пунш, стоять на баке и орать, что есть мочи — «ай-ай-ай! — вороти!» — чтобы не наткнуться в ночи на встречный пьяный парусник; и этот трехмачтовый парусник погиб; — Медведев помнил бурю и помнил, как капитан погнал его лезть на

бизань и там — рвать, резать, кусать зубами, но — во что бы то ни стало — сбросить парус, и бизань-мачта обломилась; больше ничего не помнил Медведев и утверждал, что в море гибнуть не страшно, ибо его нашли на третий день на обломке мачты с ооченевшими руками; он ничего не помнил, как три дня его носило море; от погибшего судна не сыскалось ни одного осколка; — тогда были дни осеннего равноденствия, дни штормов, и еще принесло к берегу стол и сундук, и к столу была привязана женщина: с судна в море на шлюпке ушла команда; капитан не бросил своего судна; капитан привязал свою жену к столу, потому что она металась обезумевшей кошкой по судну; и капитан стал молиться Николе-угоднику, морскому защитнику; — больше женщина ничего не помнила: гибнуть в морях не страшно, — а от судна, с которого спаслись сундук, стол и женщина, не осталось ни человека, ни щепы... — — О Лачинове. — Тогда, там, в географической точке, которая зовется Москвой, только за три дня до отъезда в Архангельск он узнал об экспедиции, и в три дня собрался, чтобы ехать, — чтобы идти в Арктику, — чтобы сразу разрубить все те узлы, что путали его жизнь, очень сложную и очень мучительную, потому что и по суше ходят штормы и многие волны былинками гонят человека, и очень мучительно человеку терять свою волю. В этой географической точке, которая зовется Москва и которую легче всего представить — астрономически — пересечением широт и долгот (потому что здесь в море только так означались путины), остались дела, друзья, борения, ночи, рассветы, жена, усталость, тридцать пять лет жизни, картины, тщеславие, пыль в мастерской, — и все время — в страхе — представлялась пустыня сентябрьской российской ночи, волчья российские просторы, дребезг вагонных сцеплений, поезд в ночи, купэ международного вагона, где он один со своими

мыслями, — и поезд шел в Москву, и там, впереди во мраке, возникали зеленые огни Москвы; и все двоилось — один Лачинов стоял у окна в купе международного вагона и мучился перед Москвою, — другой Лачинов с астрономических высот видел и эту пустыню ночи, и поезд в ночи, и Москву, и темное купе, и человека — себя же — в купе у окна; и тот, и этот — один и тот же — думал о том, что в Москве, на Остоженке навстречу выйдет безмолвная и ждущая жена, а на столе у телефона лежит десяток ненужно-нужных телефонных номеров, и ни жена, ни телефоны — страшно ненужны. — Здесь, на «Свердрупе» можно было быть одному, самим собою, с самим собой, перервать всего себя, все перевзвесить. Надо было слушать склянки и гонг к еде, надо было выходить на вахту, надо было делать работу и жить интересами людей — такую, такими, о которых никогда в жизни не думалось, — в чемодане были письма Пушкина, Дон-Кихот и путешествие Гулливера, — это чужая жизнь, — но свои виски уже поседели, уже поредели, и кожа на лице, должно быть, деформировалась, привыкнув к бритве, — и от времени, от встреч, от людей, от привычки, что за тобою наблюдают, — такая привычно-красивая манера ходить, говорить, руку жать, улыбаться, — а где-то там, за десятком лет, перед славой сохранился такой простой, здоровый и радостный человек, богема-студент, сын уездного врача, выехавший когда-то из дому в Москву, в славу, да так и застрявший в дороге, потерявший дом. — Ветер в море все перешаривал, до матери, до детства, — и было страшно, что ветер ничего не оставлял. — Самое мучительное в шторме было то, что надо было все время напрягаться, напрягать мышцы, чтобы не упасть, не свалиться, надо было напрягать волю, чтобы помнить о качке, — в койке, засыпая, надо было лечь так, чтобы быть в койке, как в футляре, чтобы не

ездить по койке, чтоб упираться ступнями и головой в подложенные по росту вещи, чтоб держаться руками за борта койки, — чтобы трижды в минуту вставать на голову. Нельзя было есть, потому что тошнило и стыдно было бегать к борту «травить море». Надо было упорною волей сутки разбить не на двадцать четыре, а на восемь часов, сделав из человеческих — трое здешних суток. И скоро стало понятно, что ноги поднимать трудно, трудно слышать, что говорит сосед, — что в голову вникает стеклянная, прозрачная, перебессонная запутанность и пустота, и кажется, что лоб в жару, и мысли набегают, путаются, петляют — запуганными зайцами и океанской кашей волн, когда ветер вдруг с норда круто повернул на ост. И тогда с физической отчетливостью ясно (тогда понятны доктор и зоолог, и кинооператор), мысли остры, как бритва: вот, койка, над головою выкрашенная белым, масляною краской, дубовая скрепа, — электрическая лампа, — пахнет чуть-чуть иодоформом или еще чем-то лекарственным (после дезинфекции перед уходом в море), — балка идет вверх, встает дыбом, балка стремится вниз, — рядом внизу какая-то скрепа рычит, именно рычит, перегородка визжит, — дверь мяукает, — забытая, отворенная дверь в ванную ритмически хлопает, — пиликает над головой что-то — дзи-дзи-дзи-дзи!.. надо, надо, надо скорее сбросить с койки ноги, и нет сил, надо, надо бежать наверх, кричать — «спасайтесь, спасайтесь!» — но почему вода не бежит по коридору, не рушатся палубы, когда совершенно ясно, что судно — гибнет! — гибнет! — и почему никто не кричит? — ну, вот, ну, вот, еще момент, — вот, слышно, шелестит, булькает вода. — И тогда так же остро: «— что за глупости? Ерунда, — я еще долго буду жить! Глупо же, ведь нет же никакой опасности!» — И тогда, мучительно, неясно:

— Москва — жена — дочь — выставки — картины... Нет, ничего не жалко, ничего нет!.. Нет — нет, дочь, Аленушка, милая, лозиночка, ты прости, ты прости меня, — все простите меня за дочь: я по праву ее выстрадал!.. Жена — выставки — работа — слава: — нет... Ты прости меня, жена: не то, не то, не так! Славы — не надо, не то, я же в ряд со всеми ползаю на вахты, меня никто не заставляет, меня никто в жизни ни разу ничего не заставлял. Работа — да, я хочу оставить себя, свой труд, себя — таким, как я есть, как я вижу. Это же глупость, что море убьет, а ты, Аленушка, прости! Ты и работа — только!.. Ах, какая ерунда — Москва!.. Голова у меня болит. Ужели — вот эти тридцать пять — сорок лет жизни — и есть те сотни хомутов, которые ты надел на себя, которые на тебя надели, которые надо тащить, от которых никуда не уйдешь. —

У Лачинова была воля — видеть. Это он острее всех на «Свердруп» отметил нелешницу радио — прощального из Москвы радио, и он взял себе запись его со стены в кают-компании. Это он безразлично наблюдал, как обалдевшим людям даже Белужья губа на Новой Земле казалась спасением. Это он двоился, чтоб — на себе же, не только на соседях — наблюдать каторжную муку качки. И это у него загредось нежностью сердце, когда Циррус возился с кошками. — Но ноги подкашивались от утомления, и там — у кошек — первый раз затошнило, замучило, замутило, когда — хоть в воду, хоть к чорту, хоть в петлю, — лишь бы не мучиться!.. — И тогда в полночи — на койке — качалась, качалась переизученная скрепа над головой, в белой масляной краске, — хоть в воду, хоть к чорту, лишь бы не вставать на голову, лишь бы не понимать, что в голове окончательно спутаны мозги, бред, ерунда, а желудок, кишечник, — желудок лезет в горло, в рот — —

— — и тогда все все-равно, безразлично, нету качки, — единственная реальность — море, — бред, ерунда — —

... нет, с Петром I надо мириться. Лачинов стоит на верке Северо-Двинской крепости, той, что под Архангельском у взморья на Корабельном канале. От Петра осталась — вот хотя б эта крепость: р а в р у ш е н и е Петра шло с о з и д а н и е м, он все время строил, а у нас, у меня, наоборот, с о з и д а н и е шло р а в р у ш е н и е м. За крепостью, совершенно сохранившейся, совершенно пустой, которую Петр строил против шведов, но которая не держала ни одной осады, текла пустынная река, были водны и луна была величиной с петровский пятак — —

— —  
На судне было тридцать восемь человеческих жизней, и одна из них была — женскою жизнью. Но химичка Елизавета Алексеевна не походила на женщину, — ее всем не било море, она работала лучше любого матроса, она гордилась своей силой, она всем хотела помочь, — и, если сначала матросы не стеснялись при ней пускать большие и малые узлы, то скоро стали крыть ими ее — за ее здоровье и силу, за ее охоту помочь всем, — за ее желание всем нравиться: мужчинам было оскорбительно, что женщина сильнее их в мужских их качествах, что у нее так мало качеств женских; но когда матросы уж очень изобижали ее, она плакала при всех, громко и некрасиво, как, должно быть, плачут тюлени.

— —  
30 августа «Свердруп» вошел во льды. Льды, ледяное небо были видны с утра, и к полночи кругом обстали ледяные поля и айсберги, страшное одиночество, тишина, где кричали лишь изредка редкие нырки и люрики, полярные птицы, да мирно и глупо плавали стада тюленей, с любопытством поглядывавших на «Свердруп», медленно поворачивавших головы на человеческий свист. Качка

осталась позади, все отсыпались, мылись, чистились, как к празднику, крепко спали. Утром уже кругом было ледяное небо и кругом были льды. «Свердруп» лез льдами. Капитан был на мостике, на румбе был норд, лицо капитана было ноябрьским, Кремнев сидел у трубы. Утром на жилой палубе был шопот: ночью залезли во льды, в ледяные поля так, что едва нашли лазейку оттуда, и у капитана с Кремневым был ночью разговор, где капитан заявил, что он не в праве рисковать жизнями людей, а льды, если затрут, могут унести «Свердрупа» хоть к полюсу и, во всяком случае, в смерть; — на румбе остались и север и льды. — Ночью была станция, от двух до пяти; легли спать осенью, в дожде, в мокроти, — проснулись зимой, в метели; — в полдень солнце резало глаза, мир был так солнечен и бел, что надо было надеть синие очки: в это солнце впервые после Канина Носа определились, — где, в какой астрономической точке «Свердруп», секстант — показал  $78^{\circ}33'$  широты на  $41^{\circ}15'$  меридиане. Люди первый раз после Архангельска были за бортом: вылазали на льды, ходили с винтовками подкарауливать тюленей. Тюлени плавали стадами и по ним без толку палили из ружей. Мир исполнен был тишиной и солнцем. — Ночь была белесой, прозрачной; переутомление, которое проходило, смешало какие-то аршины, люди бродили осенними мухами, натыкались друг на друга, говорили тихо, дружелюбно и на «ты». Кругом ползли айсберги необыкновенных, прекрасных форм, ледяные замки, ледяные корабли, ледяные лебеди. Отдых от качки принимался благословением и праздником. — «Свердруп» втирался к ближайшему айсбергу, чтобы взять пресной воды, — и опять люди ходили на лед; надо идти ледяным полем, идешь - идешь — полынья, — тогда надо подтолкнуть багром маленькую льдинку и переплыть на ней полынью, а если полынья маленькая, надо прыгать через нее сраз-

бегу, отталкиваясь багром. Кинооператор ходил на айсберг фотографировать, — лез по нему какие-нибудь пять саженей с час, залез — и он редко видел такую красоту, внутри айсберга пробило грот, там было маленькое зеленое озерко и туда забивались волны, свободные, океанские, голубые... Под айсбергом и под людьми на нем были соленые воды океана, глубиною в версту. — И опять наступила пурга, повалил снег, пополз туман. — И новым утром на румбе был ост, а на жилой палубе говорили, что капитан снял с себя ответственность за жизни людей — и эту ответственность принял на себя начальник экспедиции профессор Кремнев: по законам плавания за полярным кругом каждому полагается в сутки по полстакана спирта, — что за разговоры были между капитаном и начальником доподлинно никто не знал, но утром капитан, не спавший все эти дни, сидел в кают-компании и молча пил спирт, и молча сидел перед ним Кремнев, и все матросы были пьяны. «Свердруп» крепко трещал во льдах — Никто из экипажа научных сотрудников не знал, никто из непосвященных не знал, что эти дни во льдах были опаснейшими днями: два матроса нижней команды, два матроса верхней команды, боцман, плотник, механик, первый штурман, капитан и начальник — бесценно, бесценно, корабельными крысами, с электрическими лампочками на длинных проводах рылись за обшивками в трюме, ползали в воде меж балок, спускались под воду к килю, а донки захлебывались, храпели, откачивая бегущую в трюм воду, — чтобы заплатать, забить, заделать пробоину в корпусе, чтоб, ползая на животах, на четвереньках, лежа на спинах — спасать, спасти, спастись. Кремнев приказал молчать об этом — и приказ матросам подтвердил наганом. Кремнев и капитан имели крупный разговор; капитан сказал: — «назад!» — Кремнев сказал: — «вперед!». Разговор был в капитанской рубке,



Кремнев жевал безгубыми губами, смотрел в сторону и тихо говорил: «Все это пустыки. Судно исправно. Мы пойдём на ост, выйдем из льдов и пойдём на норд, по кромке льда. Льды не могут быть сплошные», — лицо Кремнева было буденно и обыкновенно, как носовой платок, — и капитану было очень трудно, чтоб не плюнуть в этот носовой платок. — —

И эти ледяные сотни верст, ушедшие в океан убивать и умирать, остались позади. И опять были штормы. Приходили дни равноденствия, и невероятными красками горел север, то огненный, то лиловый, то золотой, — и тогда вода и волны горели невероятными, небывалыми красками, — но небо только на юге, только на юге было предательски-ночным. Секстан был ненужен, бессилён за тучами и туманами, и судно шло только лаком и компасом, — наугад, в туманах. — И был туманный день — такой туман, что с капитанского мостика не видны были мачты и бак, — клаузен всплывал уже дважды, — капитан скомандовал в лебедку пустить пар, боцман пошел, чтобы отдать якоря, — чтобы перестоять туман. И тогда вдруг колыхнулся и пополз туман! — и вдруг — так показалось, рядом, в полуверсте, можно было видеть простым глазом, — над туманом возникли очертания огромных, понурых гор, — туман пополз и в четверть часа впереди открылась — земля, горы, снег, льды, льды, глетчеры, — холодное, пустое, понурое, мертвое. Но опять на вершины гор пополз туман — не то туман, не то облака, — и повалил снег. До берега было миль семь. Снег перестал. «Свердруп» пошел вперед в эту страшную понурую серую щель между тучами и свинцовой зеленоватой водой. На баке вахтенный матрос мерил глубины лотом. Это была первая земля после Архангельска. Это была Земля Франца-Иосифа, — но что за остров этого

архипелага, что за бухта, что за мыс, быть может, никем еще не обследованный, никем еще не виданный, такой, на котором не ступала еще человеческая нога, — об этом никто никогда на «Свердруп» не узнал. — Здесь пришли три первых человеческих смерти, — зоолога, того, что боялся смерти, второго — штурмана и третьего — матроса; — здесь «Свердруп» был меньше суток. —

«Свердруп» бросил якоря в миле от берега. В бинокль было видно, что, если ад, да не православный, который, прости-господи, немного глуповат, а аскетически-строгий ад католиков сдан в заштат и не отапчивается, то пол в аду должен был бы быть таким же, как камни здесь на берегу, такой же мучительный, потому что базальты стояли торчком, огромными сотами, на которых надо рвать ногти — и камни были такой же окраски, как должны они были бы быть в аду, точно они только что перегорели и задымлены сажей, они стояли точно крепостные, по-старинному, стены. И в бинокль было видно, что было в Европе в начале Четвертичной эпохи, когда были только льды, туман, холоды, камни — и не было даже за облаками неба. Были видны облака на горах, горы черные — красновато-бурые, как железо, — зеленая вода, — и прямо к воде сползал глетчер. — Опять повалил снег и прошел. Со «Свердрупа» спустили шлюпку, — штурман, матрос и с ними зоолог отправились на берег, на разведку. Шлюпку приняли волны, закачали, понесли, — и скоро она стала маленькой точкой. И тогда опять поползли туманы, поползди справа, как шоры, медленно заволакивали все долинки, воду, вершины — этой желтой, студеной мутью, — и остров исчез, как возник, в тумане. Тогда «Свердруп» стал гудеть, первый раз после настоящей человеческой земли, чтобы указать оставшимся на берегу, где судно, — и минут на пять не угасало в горах и в тумане эхо. И тогда — через туман — повалил

снег, и сразу налетел ветер, завыл, заметался, засвистел, — туман — не пополз, — побежал, заплясал, затыркался, — ветер дул с земли, снег повалил серыми хлопьями величиною в кулак, — и снег перестал, и туман исчез, — и остался только ветер, такой, что он срывал людей с палуб, что якорные цепи поползли по дну вместе с якорями, — что нельзя было смотреть, ибо слепились глаза, и ветер был виден, синеватый, мчащийся. «Свердруп» ревел, призывая людей с берега. И тогда увидели: от берега к «Свердрупу» шла шлюпка, ей надо было пройти наперерез ветру — ее поставили прямо против ветра, — и все трое на веслах гребли в нечеловеческих усилиях, изо всех сил. На «Свердрупе» знали: если не осият, не переборят ветра, — если пронесет мимо «Свердрупа», — унесет в море, — гибель. И капитан заволновался первый раз за всю путину. Все были на палубе. Видели, как трое корчились на шлюпке, боролись с волнами и ветром, видели, как шлюпка влезала на волны, падала в волны, — разбивалась волна и каждый раз предательски захлестывала за борт зеленой мутью брызгов. Капитан кричал: — «Вельбот, на воду! Медведев с подвахтой — на воду! На тресе, на тресе, — готовь трос!» — и в машинное: — «средний вперед!» — и на бак к лебедке: — «поднимай якоря!» — Ветер был виден, он был синь, он рвал воду и нес ее с собой по воздуху, и вода кипела. «Свердруп» пошел наперерез, навстречу шлюпке. — Со шлюпки доносились бессмысленные крики. И на шлюпке сделали непоправимую ошибку: зоолог бросил весла и стал картузом откачивать из шлюпки воду, — на «Свердрупе» видели, как подхватил ветер шлюпку, как понесли ее волны по ветру: штурман повернулся на шлюпке, хотел, должно быть, сказать, чтоб тот сел на весла, иль обессил: шлюпка завертелась на волнах бессмысленно, бесцельно, потерявшая человеческую волю, — шлюпка была

совсем недалеко от носа «Свердрупа», она стремительно неслась по ветру, — она прошла совсем под носом «Свердрупа», — и тогда стало ясно: люди погибли, их унесло море. И остальное произошло в несколько минут: «Свердруп» крейсировал, чтобы пойти вслед, — развернулся — и шлюпка была уже далеко, превратилась в точку, и в бинокль было видно, что в шлюпке остался один человек — и еще через минуту все исчезло. — И капитан же, тот, что волновался больше всех, скомандовал понуро и покойно — «полный!» — шлюпку унесло на ост, — капитан окриком спросил: — «на румбе?» — «Есть на румбе!» — ответил вахтенный. — «Зюйд-вест!» — крикнул капитан. — «Есть зюйд-вест на румбе!» — «Так держать!» — и «Свердруп» пошел в море, чтобы не погибнуть у земли самому — —

## ГЛАВА ВТОРАЯ

На Земле Франца-Иосифа не живет, не может жить человек, и там нет человека.

На Островах Уиджа — на острове Николая Кремнева — не может жить человек, но там доживали осколки экспедиции Николая Кремнева.

На Шпицбергене — не может жить человек, но человечество послало туда людей — —

— — там, на Шпицбергене художник Лачинов помнил ночь. Это были дни второго года экспедиции. В домике инженера Бергринга, — в дни после страшных месяцев одиночества во льдах, среди людей, в последнюю ночь перед уходом на корабле в Европу, он, единственный оставшийся от похода по льдам со «Свердрупа» на Шпицберген, — ночью он, Лачинов, подошел к окну, смотрел, прощался, думал. Домик прилепился к горе ласточкиным гнездом; вверх уходили горы, горы были под ним, и там было море, и там на том

берегу залива были горы, — там, в Арктике, свои законы перспективы, светила луна, и казалось, что горы за задивом — не горы, а кусок луны, сошедшей на землю: это ощущение, что кругом не земля, а луна, провожало Лачинова весь этот год. И над землей в небе стояли столбы из этого мира в бесконечность — столбы северного сияния, они были зелены, величественны и непонятны. В ту ночь Лачинов осознал грандиозность того, что он слышал, как рождаются айсберги: это гремит так же, как гремело, должно быть, когда рождался мир, и это очень торжественно, как льды отрываются от ледяных громад и идут в океан убивать и умирать. В тот день Лачиновпил виски и шведский пунш, и было им, четверем, очень одиноко в ночи, в этом маленьком домике, построенном из фанеры и толя, как строятся вагоны, с эмалированными каминчиками в каждой комнате, с радиоаппаратом в кабинете, с граммофоном в гостиной, — похожем на русский салон-вагон. — Там тогда в этом домике было четверо: двое из них тогда уезжали в Европу, — Лачинов в Архангельск, строить новую жизнь, — инженер Глан — в Испанию или Италию; Бергринг оставался на шахтах; Могучий уходил на север Шпицбергена. — Человечество!.. — человечество не может жить на Шпицбергене, но там, в горах, есть минералогические залежи, там пласты каменного угля идут над поверхностью земли, там залежи свинца и меди, и железа, и прочее: и капитализм бросает туда людей, чтобы копать железо и уголь. Там брызжут фонтанами среди льдов киты, ходят мирные стада тюленей, бродят по льдам белые медведи, бродят песцы, — и человечество бросает людей, чтобы бить их. — Там свои законы: и первый закон — страшной борьбы со стихиями, ибо стихии там к тому, чтоб убивать человека. И там человек человеку — должен быть братом, чтобы не погибнуть: но и там человек человеку бывает волком, —

там на Шпицбергене нет никакой государственности, ни одного полицмана, ни одного судьи, — но у каждого там есть винтовка и там есть быт пустынь. — Вот о том, что уехал в Испанию, об инженере Глане: тот, кто первый воткнет палку во льдах и горах, никому не принадлежащих, и напишет на дощечке на ней — «мое от такой-то широты и долготы — до таких-то», — тот и является собственником: это называется делать заявки на земли и руды; инженер Глан, норвежец, — он квадратен, невысок, брит, на ногах пудовые башмаки и краги, брюки галифе, под пиджаком и жилетом фуфайка и на воротах фуфайки галстух (!) — а на шее на ремешках цейсс и кодак. Каждым июлем, — месяцем, когда может притти первое судно на Шпицберген, — инженер Глан приезжает на Шпицберген в свои владения, в Коаль-бай, где у него избушка и где стоит по зимам его парусно-моторный шейт, — он, Глан, — горный инженер и на этом, суденышке он бродит по всем берегам Шпицбергена, изучает, щупает камни, землю, под землей, — и: делает заявки. Это весь его труд. Он спит в каюте на своем шейте, и на снегу в горах, и на льду — в полярном мешке, непромокаемом снаружи, меховом внутри, с карманами внутри для виски и сигаретт, — и, просыпаясь утром, еще в мешке, он пьет первую рюмку виски, чтоб пить потом понемногу весь день; он спал в мешке, не раздеваясь; на шейте кроме него были матрос, механик и капитан; все вместе они ели консервы, пили кофе и молчали; когда они были в походе и Глан не спал, он сидел на носу, сутками молчал и смотрел в горы, и курил сигаретты. — Инженер Глан продал голландцам угольную заявку — за пятьсот тысяч фунтов стерлингов, без малого за пять миллионов рублей. Зимами он в Ницце. Рабочие роют голландцам уголь. Глан приезжает только на два летних месяца, когда ходят корабли. Он большой миллионер, —

и он, конечно, волк: он продал англичанам замечательные заявки на мрамор, англичане привезли рабочих, машины, радио, инженеров, лес (там ничего не растет, и каждое бревно, каждую тесину надо привозить), пищу (потому что там нечего есть, кроме тюленьего сала, которое несъедобно), — и англичане разорились, эта английская фирма, потому что мрамор там — за эти века постоянного холода — так перемерз, так деформировался от холода, что, как только отогревался, — рассыпался сейчас же в порошок. — Глаз почти не говорил, у него очень крепкие губы, — и синие жилки, от здоровья и от виски, на носу и у висков... — — Полгода ночи, северных сияний, такой луны, при которой фотографируют, — таких метелей, которые бросаются камнями величиной в кулак. — Девять месяцев в году люди, оставшиеся там, отрезаны от мира, — между собой сообщаются там они радио и собаками, — и на лыжах, если расстояния не больше десятка миль. Там не нужно денег, потому что нечего купить, — там люди едят и пьют то, что скоплено, привезено с человеческой земли; там не дают алкоголя. Там нет женщин, — там ничто не родится, и люди приезжают туда, чтобы почти наверняка захворать цынгой. — Там нет ни полиции, ни одного судьи: директор копей, инженер, в Европе нанимает рабочих, — они будут получать кусок и жилье, за это с них будет вычитаться из того сдельного, что они накопили в шахтах; если они хотят, их жалование будет выдаваться в Европе тем, кому они укажут, — или они получают его весной. К весне почти все на шахтах перехворают цынгой. — Домики построены — как русские железнодорожные теплушки, в этих теплушках люди переползают из одного года в другой, к смерти, к цынге. Директор копей подписывает с рабочими контракт, рабочий работает сдельно, и, если он захворал, если он сошел с ума, — с него только вычитают

за лечение и за пищу, и за уголь в теплушке... — Но жизнь есть жизнь, и вот, в ноябре, в декабре, январями, когда на Шпицбергене ночь, в эти дни-ночи там в Арктике — на Грин-гарбурге, в Адвен-бае, в Коаль-сити — в северном сиянии и ночи, круглые сутки, посменно роются в земле, в шахтах и штольнях рабочие; рвут каменноугольные пласты, толкают вагонетки, разбирают сор шахт и подземелий. Потом рабочие уходят в свои казармы, чтобы есть и спать. Изредка, в те часы, которые условно называются вечером, рабочие идут в свою столовую, там показывают кинофильму или рабочие играют пьеску, где женщин исполняют тоже рабочие. Тогда приходит радио, и только оно одно рассказывает о том, что делается в мире. Над землей ночь. Люди едят консервы. — В Адвен-бае по воздуху во мраке и холоде мчат с высочайшей горы от шахт к берегу вагончики воздушной электрической железной дороги с углем; иногда в этих вагончиках видны головы рабочих, склоненные, чтобы не убил на скрепах ток; — а над Грин-гарбургом — в гору ползут вагончики, — тоже электрической, но подъемной железной дороги, — и уходят в земное брюхо. И над Грин-гарбургом, и над Коаль-сити горит, горит мертвый свет электричества, — и горит, горит над ними обоими в небесах северное сияние. Часы показывают день. Там, в шахтах, в верстах под землей, гудит динамит, в динамитной гари роются рабочие, все, как один, в синих комбинизах, застегнутых у шеи, и в кожаных шлемах, чтобы не убил камень, оторвавшийся наверху. В час прогудит гудок, или в двенадцать, и рабочие потекут во мраке есть свои консервы, отдохнуть на час. И когда они возвращаются в шахты, быть может, иной из них взглянет на горы и глетчеры, и льды вокруг — на все то, что не похоже на землю, но похоже на луну. Быть может, рабочий подумает — о земле, об естественной человеческой

жизни, о прекраснейшем в жизни — о любви и о женщине, — и он бросит думать, должен бросить думать, — ибо ему некуда уйти, он ничего не может сделать и достигнуть, — ибо природа, ибо расстояния, непокоренные, непокорные стихии, что лежат вокруг, — существуют к тому, чтобы не давать жить, чтобы убивать человека. И лучше не думать, ибо никуда не уйдешь, ибо кругом смерть и холод, — и нельзя думать о женщине, ибо женщина есть рождение, ибо можно думать — только о смерти. Надо рыть каменный уголь, надо как можно больше работать, чтобы больше вырыть, чтобы проклясть навсегда эту землю... Надо быть бодрым, ибо — только чуть-чуть затосковать, заскулить — неминуемо придет цынга, эта болезнь слабых духом, которую врачи лечат не лекарствами, — а бодростью, заставляя больных бегать, чистить снег, таскать камни, быть веселыми, ибо иначе загниют ноги и челюсти, выпадут волосы, придет смерть в страшном тосковании — — В Коаль-сити только один инженер. В Адвен-бае, в Грин-гарбурге вечерами собираются инженеры, пять-шесть человек, — их клубы, как салон-вагоны, но там есть и читальня, где стены в книгах, и бильярдная, в третьей комнате диваны и рояль, — но на рояли никто не умеет играть, и вечерами надывается граммофон, — вот теми вечерами, которые указаны не закатом солнца, а — условно — часами на стене и в карманах. Инженеры вечером приходят к ужину в крахмалах, все книги прочитаны, каждый жест партнера на бильярде изучен навсегда; можно говорить о чем угодно, но избави бог вспомнить слово и понятие — женщина: у повешенных не говорят о веревке, — и тогда надо очень большую волю, чтобы не крикнуть лакею: — «гоп, бутылку виски!» — чтоб не выпить десяток бутылок виски, расстроив условное часосчисление, чтоб не пить горько и злобно... — Это идет час, когда рабочие

смены уже сменялись, — уже отшумела столовая и в бараках на парах в три яруса спят рабочие — перед новым днем (или ночью?) шахт — — ...В те дни, когда Лачинов был на шахте у инженера Бергринга, с каждым парходом с земли, из Европы, Бергрингу привозили тюки с книгами, — и у него в чуланчике стояли ящики с виски, и ромом, и коньяком. Коаль-компания только что возникла, — там людей было меньше, чем экипажа на хорошем морском судне: Бергринг капитанствовал. Его домик был, как ласточкино гнездо, он повис на обрыве, и к домику вела каменная тропинка. В кабинете у него был радиоаппарат, чтоб он мог говорить с миром, в гостиной — граммофон, — и всюду были навалены книги: но книги были только по математике и по хозяйственным вопросам, и по горному делу, только. Он, Бергринг, с утра одевался в брезентовые пиджак и брюки, и краги его были каменные. Лачинов поселился у него в комнате вместе с Гланом, это были странные дни, в постель им приносили кофе, и мальчик растапливал камин. Потом они опять засыпали. В полдни к ним приходил Бергринг, в ночной рубашке, с бутылкой виски и с сифоном содовой, и они в постели, прежде чем умыться, пили первый стакан виски. В два они обедали. Бергринг, когда не уходил к рабочим и не говорил с гостями, он сидел с книгой и со стаканом виски. В пять было кофе, и после кофе на столе появлялась бутылка коньяка, она сменялась новой и новой бутылками — — И была ночь, их было четверо в гостиной Бергринга: Бергринг, Глан, Могучий и Лачинов. Могучий был русским помором, он сохранил отечественный язык, — но давно уже, еще его деды, звероловы, китобои, моряки перешли жить в Норвегию, и думал Могучий уже по-норвежски — —

Была ночь, когда люди прощались, братья, — б р а т ь я, потому что они вчера встретились по призна-

к у ч е л о в е к, и завтра расстанутся, чтобы никогда не увидеть больше друг друга, — потому что на севере человек человеку — брат — —

— — тогда можно было понять, что будет через месяц с Бергрингом — — ...ночь, арктическая, многомесячная ночь. Домик в горе, в снегах, в холоде, стены промерзли, — из замерзших окон идет мертвый свет; — и то, что видно из окон, — никак не земля, а кусок луны в синих ночных снегах. Стены промерзли, и мальчик круглые сутки топил камин. — Часы показывают семь утра, мальчик принес кофе, вспыхнуло электричество в спальне, — рабочие ушли в шахту, — за стенами или метель, или туман, или луна, и всегда холод и мрак. Инженер Бергринг встал, сменил ночную рубашку на свой брезентовый костюм. В кабинете радио вспыхнуло катодной лампой, — оттуда, с материка, из тысяч верст, из Европы: пришли вести о всем том, что творится в мире... — Но мир инженера Бергринга ограничен — вот этим скатом горы: можно выйти из домика, спуститься с горы к баракам, пройти в шахты, — и все: ибо ближайшие люди в двух днях езды на собаках, ближайшая шахта. Обед, как всегда, в два, как всегда в столовой внизу, и толстый кок подает горячие тарелки. А потом — диванчик у столика, в гостиной, против камина, и бутылка виски на столе, и книга в руках, и — там за окном ночь и луны пространств. Лицо у инженера Бергринга — как на старинных шведских портретах. — Иногда приходит десятский и говорит о том, что или того-то убило обвалом, или тот-то захворал цынгой, или тот-то сошел с ума, — тогда надо отдавать короткие распоряжения, обыденные, как день. Иногда по льдам с соседних шахт, на собаках приезжают гости, очень редко, — тогда надо доставать шведский пунш и говорить — вот, о сегодняшних своих буднях, о рабочих,

о выработках, о шахтах, о запасах провианта, — тогда надо пить пунш, и граммофон рвет свою глотку. — Но чаще другом остается книга, мысль уходит в книгу, в пространства мира, куда заносят эти книги, особенно подчеркнутые этим, что никуда, никуда не уйдешь, ибо — вот на сотни миль кругом — горы во льдах и неподвижные льды, — там новые сотни миль ползущих, ломающихся льдов, корка морей в туманах и холодах, и ночи, — а там тысячи миль морских пространств... — и только там настоящая, естественная человеческая жизнь, — и книги, все, что собраны Бергрингом, — книги о звездах, о законах химии и математики, о горном деле — молчат об этой естественной жизни: мысль Бергринга волит познать законы мира, где человек — случайность и никак не цель — —

— — тогда зналось, как угольщик — последний угольщик со Шпицбергена — понесет через океан уголь, инженера Глана и его, Лачинова, — дешевой уголь — не особенно высокого качества, он идет на отопление второсортных пароходов, но он сойдет и на небольшой фабричке, он прогорит в камине торжественно английского джентльмена, на нем выплавят дешевую брошечку — массового производства — для фреккен из Швеции, — но он же даст и деньги, деньги, деньги — английской, голландской, норвежской — угольным шпицбергенским компаниям: это то, что гонит людей даже туда, где не может жить человек. — Но инженер Глан поедет в Испанию, будет греться на солнце, смотреть бои быков, и всюду с ним будет виски, и около него будут женщины. — А художник Лачинов — он, — чудеснейшее в мире, невероятнейшее — она: тогда, там в море, год назад, в бреду —

— — Лачинов стоит на верке Северо-Двинской крепости — —

на всю жизнь — она, одна, любимая, незнаемая — —

... Там за окном из этого мира в бесконечность уходили столбы северного сияния. Завтра уйдет пароход на юг, — завтра уйдет Могучий на север. Виски пили с утра. Лачинов стоял у окна в домике, как ласточкино гнездо, смотрел на горы за заливом, — и хрипел граммофон. И тогда заговорил Могучий — женщина! — каждый звук этого слова скоро наполнился густою кровью, тою, что билась в висках и сердце у этих четверых, — и не могло быть лучшей музыки, чем слово — женщина — —

— Женщина! Все экспедиции, где есть женщина, — гибнут, — говорил Могучий, — гибнут потому, что здесь, где все обнажено, когда каждый час надо ждать смерти, — никто не смеет стоять мне на дороге, и мужчины убивают друг друга за женщину, — мужчины дерутся за женщину, как звери, и они правы. Я оправдываю тех, кто убивает за женщину. — Четыре месяца я проживу один, в избушке, где второму негде лечь, — четыре месяца я не увижу никакого человека, — и я все силы соберу, я сожму всю свою волю в кулак, чтобы не думать о женщине, — но она вырастет в моих мыслях в гораздо большее, чем мир!.. — Могучий замолчал, заговорил негромко: — Ну, говорите, вот она вошла, вот прошуршали ее юбки, вот она улыбнулась, вот она села, и башмак у нее такой, ах, у нее упала прядь волос, и шея у нее открыта, — ну, говорите, ну, говорите о пулях, о том, что я про себя должен сказать — «я вошел», а она сказала бы — «я вошла». Она положила ногу на ногу, она улыбнулась — что может быть прекрасней?! — Экспедиции гибнут, да! — Мой друг, промышленник, на берегу провел ночь с женщиной, наутро он ушел, сюда, — и он нашел у себя в кармане женскую подвязку: он не кинул ее в море, и он погиб, — он погиб от цынги целуя подвязку... Женщина! — ведь он же знал, как вызывается каждая тесемка и как расстегивается каждая

кнопка, — и вот! — где-то во льдах, их десятеро и одиннадцатая она, и двенадцатый тот, кому она принадлежит, — за льдиной сидит человек с винтовкой, один из десятерых, и навстречу к ней идет двенадцатый, и пуля шлепнула его по лбу... — Ну, говорите, ну, говорите же, как она одета, как расстегиваются ее тесемки... —

— Да-да, да-да, — заговорил в бреду Лачинов. — Знаете, Архангельск, — мне стыдно слушать, что вы говорите, — я никогда ее не видел, я много знал женщин, я много знал, я многое видел, — я год шел льдами: я все брошу для нее. Неправда, что нельзя думать о ней: я шел во льдах и не умер только ради нее. Я еду прямо в Архангельск, в Северо-Двинскую крепость, — это единственное в жизни — —

Лачинова перебил Могучий: — «Ну, говорите, ну, говорите, как она улыбнулась? — глядите, глядите, какая у нее рука!..» — —

И тогда крикнул Бергринг: — «Молчать, пойдите на воздух, выпейте нашатырю, вы пьяны! не смейте говорить, — вы завтра идете на север! — » Глаз стал у дверей, руки его были скрещены. Могучий грозно поднялся над столом. — Опять кричал Бергринг: — «Молчите, вы пьяны, идемте к морю на воздух, — иначе никто из нас никуда не уйдет завтра!»

— — тогда, там у окна, Лачинов понял, навсегда понял грандиозность того, как рождаются айсберги: это гремит так же громко, как когда рождаются миры — —

— — ...На утро Лачинов и Глаз ушли в море, на юг. На утро Могучий ушел на север, на зимовку — —

На Шпицбергене, в заливах, на горах, — на сотни верст друг от друга разбросаны избушки из толя и теса; они необитаемы, они поставлены случайной экспедицией — для человека, который случайно будет здесь гибнуть;

иные из них построены звероловами, зимовавшими здесь. Все они одинаковы, — Лачинов на пути своем с острова Кремнева встретил три такие избушки, и они спасли его жизнь. Двери у избушек были приперты камнем, они были отперты для человека, в них никто не жил, — но в одной из них на столе, точно люди только что ушли, лежало в тарелке масло, — а в каждом в углу стояли винтовка и цинковый ящик с патронами для нее, а в ящиках и боченках хранилась пища, на полках были трубка и трубочный табак. Посреди избы помещался чугунный камелек, около него стол, около стола по бокам две койки, — больше там ничего не могло поместиться; у камелька лежал каменный уголь. Снаружи домик был обложен камнем, чтобы не снес ветер. Около домиков лежали звероловные принадлежности, были маленькие амбарчики с каменным углем и бидонами керосина. Домики были открыты, в домиках — были винтовка, порох, пища и уголь, — чтоб человеку бороться за жизнь и не умереть: так делают люди в Арктике. Последний домик, где Лачинов, уже в одиночестве, потеряв своих товарищей, прокоротал самые страшные месяцы, стоял около обрыва к морю, у пресноводного ручья, между двух скал, — и это был единственный дом на сотню миль, а кругом ползали туманы и льды. — Быт и честь севера указывают: если ты пришел в дом, он открыт для тебя и все в доме — твое; но, если у тебя есть свой порох и хлеб, ты должен оставить свое лишнее, свой хлеб и порох, — для того неизвестного, кто придет гибнуть после тебя. — На утро Могучий с товарищами на парусно-моторном шейте ушел на север Шпицбергена, на 80°. Их было пятеро здоровых мужчин; они повезли с собой все, что нужно, чтобы прожить шестерым, мясо, хлеб, порох, звероловные снасти и тепло, — не домики, а конуры, каждая такой величины, чтобы прожить в ней одному человеку и шести собакам: все это они

припасли от Европы. На 80° они вморозили в лед свой шейт и разошлись в разные стороны на десятки миль друг от друга, чтобы зарыться в одиночество, в ночь, в снег. Они распозлились на своих собаках, на собаках и на плечах растаскивая домики, — в октябре, — чтобы встретиться первый раз февралем, когда на горизонте появятся красные отсветы солнца: эти месяцы каждый из них должен был жить — один-на-один с собою и стихиями многомесячной ночи и извечного холода. Там некому судить человека, кроме него самого, там он один, — и там у всех людей один враг: природа стихии, проклятье, — там ничто никому не принадлежит, — ни пространства, ни стихии, ни даже человеческая жизнь, — и там крепко научен человек знать, что человек человеку — брат. Там человеку нужны только винтовка и пища, — там не может быть чужого человека, ибо человек человека встречает, как брата, по признаку человек, — как волк встречает волка по родному признаку волк. Там нельзя запираť домов, и там — в страшной, в братской борьбе со стихиями — всякий имеет право на жизнь — уже потому, что он смел притти туда, смеет жить — —

— — ночь, арктическая, многомесячная ночь. Быть может, горит над землей северное сияние, быть может, мечет метель, быть может, светит луна, такая, что все, все земли и горы начинают казаться луной. И там — в ледяных, снежных просторах и скалах — идет Могучий: с винтовкой на руке, от капкана до капкана, смотрит ловушки, — не попался ли песец? — следит медвежьи следы, — делает то, что делает каждый день; потом он приходит к себе в избушку, растапливает камелек, кормит собак, греется у камелька, пьет кофе, ест консервы или свежую медвежину, курит трубку; — еще подкидывает в камелек каменного угля, подливает тюленьего жира и — лезет в свой мешок спать,



в мешок с головой, потому что к часу, когда он проснется, все в домике заостенет от семидесятиградусного мороза. — У этого человека, у Могучего есть своя биография, как у каждого, — и она несущественна; за ним числится, как он в дни, когда в Архангельске были Мюллер и англичане, когда они уходили оттуда, он, помор Могучий, взял советское судно, ушел на нем из-под стражи, перестрелял советских матросов, судно продал в Норвегии, на второй его родине: это несущественно; Европа не уделила ему места на своем материке, право на жизнь погнало его в смерть: нельзя не гордиться человеком, который борьбой со смертью борется за право жить — Он лежит в своем мешке; о чем он думает? — какую астрономически-отвлеченной точкой ему кажутся — Христиания, Тромсё, Архангельск, Москва? — —

— — и такую же арктической ночью, на восток от Шпицбергена и на градусе Могучего, на острове, названном островом Кремнева, почти в такой же избушке — над бумагой, картами и таблицами — сидел другой человек, Николай Кремнев, — на столе горел в плоске тюлений жир, и против Кремнева писал и выводил математические формулы второй профессор — физик Василий Шеметов —

— — Эта земля была последней землей, куда пришел «Свердруп», — культурное человечество не знало об этой земле, она не была открыта, — она была осколком островов Уиджа. — Она, невидная простым глазом, возникла в бинокле. Солнце во мгле чуть желтело, вода вблизи была стальной — и синей, как индиго, вдали; льды, ледяные поля были белы, в снегу, айсберги сини, как эмаль... — Там, вдали, в бинокль восставал из ледяных гор огромный каменный квадрат, одна сплошная скала, обрывающаяся в море и льды, вся в снегу, и снег под солнцем и в бинокле

был желт, как воск, блистал глетчер, черными громадами свисали скалы, — все одной громадной глыбой, наполовину освещенной солнцем, другою половиной, серой, уходившей за горизонт и во мглу. Кругом судна были горы айсбергов. Земля безмолвствовала и величественно, как никогда в жизни каждого: земля, эти мертвые скалы и льды, где никто, кроме белых медведей и птиц не жил, не живет и не может жить, — величественна, промерзшая навсегда, навсегда мертвая, такая, которая никогда, никогда не придет в подчинение человеку, которая вне человечества и его хозяйничаний. — В каждом человеке все же крепко сидит дикарь: эти земли, эта пустыня, эта мертвь — прекрасны, здесь никто не бывал, — так прекрасно и страшно видеть, изведать и знать п е р в ы й р а з! — Застреливали во льду, все были на палубе, капитан на мостике, штурмана по местам, на юте, на баке, у руля. Прошли уже часы, и земля впереди видна простым глазом, до нее каких-нибудь тридцать миль, — веяла холодом, морозами, величием и тишиной. Лед, ледяные поля обстали вокруг сплошную стеной. Тюлени смотрят из воды удивленно, целые стада. Земля видна ясно, и непонятно, как забраться на нее: она вся в снегу и льдах, и льды отвесами падают в воду... — Земля!. К земле «Свердруп» пришел в 0 часов 10 минут. Всю ночь на севере стояла красная, как кровь, никогда не виданная заря, от которой мир был красен. Вода была красной, лиловой, черной, зеленой: потом, за день и за ночь, вода была и как бутылочное стекло, и как первая листва, и как павшая листва, и лиловая всех оттенков, и коричневая, и синяя. А небо было — и красным, и бурым, как раскаленная медь, и синим, как вороненая сталь, и белым, как снег, и розовым, как розы, — и в полночь ночное небо — темное — на юге. Понурая земля лежала рядом, горы, глетчеры и снег, — и в извечной тишине кричали на скалах, на птичьем база-

ре — птицы, словно плачет, стонет, воеет, рвет горечью и болью — нечеловеческими! — земля свое нутро, точно воеет подземелье, нехорошо!.. — «Свердруп» отдал якорь в полночь. Лачинов, кинооператор, врач, метеоролог и два матроса — они сейчас же пошли на шлюпке к берегу, чтобы впервые вступить на ту землю, на которую не ступала еще нога человека. Они были вооружены винтовками, в полярных костюмах, — прибор долго не давал возможности пришвартоваться, — и сейчас же на берегу, на снегу они увидели следы медведя. Они пошли группой, молча. Было очень тихо, мертво горели север и небо. Они слезли на косе, на отмели, вдалеке от гор, и перед ними восстали колонны базальтов, которые с борта казались величиной в табурет, но оказались в хороший двухэтажный дом; они стояли, словно крепостные, по-старинному, стены, точно окаменевшие гиганты-соты, нет, не бурые, а как варжавленное железо. Влезли на них, и под ногами началось адово дно: камни, черного цвета и цвета перегоревших железных шкварков (что валяются у доменных печей), лежали так и такие, что по ним надо ходить в железе и лучше ползать на четвереньках; в иных местах эти камни размещались в порядок, словно земля родит каменные яйца, попрежнему черные, величиной в человеческую голову. В лощинах были озера с пресной водой, во льду: отряд ломал прикладами лед, чтобы пить — — И отряд на ш е л и з б у ш к у. Они нашли избушку на косе, на юру, вдали от гор, где был только один смысл устроиться жить: это — чтобы быть елико возможно больше в д н ы м с моря, воды пресной там поблизости не было. Давно известно, что все северные моря изображены русскими поморами и что Шпицберген был известен на Мурмане под именем Грумант — за четыреста лет до того, как его открыл Барец, и что на многих островах разбросаны безвестные поморские часовни, — но эта избушка

была не русской, — там жил, должно быть, норвежец, — судя по этикетке на табачной коробке и по аптечной надписи на пузырьке (и эта коробка от сигар указывала, что здесь жил не зверолов-норвежец, а кто-то иной, ибо он курил сигары, а не трубку). Избушка была развалена, она стояла на камнях, она построена была из тонкого теса, как строят рубки на кораблях, снаружи она была обложена камнем. Крыши на ней уже не было, не было одной стены. Все было развалено и разбито — чем? как? — Валялись кое-какие домашние вещи, штаны, стояла печурка из чугуна, около нее кресло из плит базальта; были нары из дерева, в стену воткнуты были вилка и столовый нож, осталась на столе солоница, с порыжевшей лужей соли. Ни запасов, ни пороха не было. И все было разбито: совершенно бессмысленно, — кто-то ломал в припадке сумасшествия, или это ломал не человек, — а если человек, то он был вчера здоров и жил буднями, а утром сошел с ума и стал громить самого себя, — самого себя, дом, забыв в стене нож и солоницу на столе... Вокруг избушки были разбросаны боченки, обручи, утварь, кастрюли, консервные банки, два весла, топор, — и было вокруг много костей разных животных, медведей, моржей, тюленей, белух: и одна кость была костью человеческой н о г и, так определил врач. Кости лежали около ящиков, стоявших в тщательном порядке. Ни одной приметы о сроках и времени не было, когда здесь жили: три, тринадцать, двадцать лет назад?.. Кости!.. — Потом отряд в мусоре нашел с а м о д е л ь н о е р у ж ь е: оно было сделано, вырублено топором из бревна, и ствол был — из газонапорной трубы. Этого острова не знало культурное человечество, — отряд обыскал все и не нашел ни одной пометы, какие обыкновенно оставляют все проходящие в эти страны. Кругом камни и льды, и море, — полгода ночи и полгода дня, десять месяцев зимы и два месяца

русского октября. Отсюда никуда не крикнешь, и — кто был здесь? кто разгромил избушку — медведи, буря, человек? — как? — здесь погиб человек, о котором никто ничего не знает, погиб, не успев ничего оставить о себе, чтобы его и о нем узнали, — человек, спасшийся от аварии и построивший себе избушку из остатков судна и добывавший себе мясо, чтобы не умереть, самодельным, сделанным помощью топора самострелом с дулом из газонапорной трубы. — Кругом избушки — кости и смерть, обломки бочек, остатки костей, — нехорошо, непонятно. Оттуда, от избушки слышно, как плачет скала птичьего базара, точно воет подземелье и сама земля рвет себя, — нехорошо. Горы стоят серые, скалы нависли хмуро, грузно, гранит и базальт, мертвью наползает глетчер. — У цынготных, за несколько дней до смерти, появляется стремление — б е ж а т ь, их находили умершими на порогах, — на Кап-Флоре медведи разгромили избушку, оставленную Джексоном — должно быть, из любопытства: никто ничего не знает о том человеке, что погиб в этой избушке, никогда не узнает, — как погиб он? как возник он здесь? — —

— у берегов этого острова, который был назван островом Кремнева, погиб «Свердруп» — «Свердруп» набирал здесь пресную воду, в вельботах возили ее с берега, все ходили на вахту по наливке воды, спускали воду из озера шлангой, носили ведрами, — спешили, чтобы уйти отсюда на юг, в Европу, — не спали и отсыпались по тринадцати часов подряд, — убили моржа и двух медведей, — тюленей не считали, — за обедом пили спирт и на жилой палубе устраивали странные концерты: один умел петь петухом, другой мычал бараном, третий хрюкал по-свинячьи; лаяли собаки, мычали коровы, — всем было весело; воды набрать осталось только для котлов. — Геолог пропадал в горах в поисках минералов, — ботаник собирал лишайники и мхи, в его лаборатории на стенах

и столах ткались прекрасных красок ковры, красивой, чем из Туркестана. — И радиист впервые изловил неведомое радио. — Радио достигало слабо, ничего нельзя было понять, неизвестно было, кто посылал радио — земля ли или пароход, — уже недели «Свердруп» был отрезан от мира, и часами плакали антенны «Свердрупа»; новые приходили радио, разорванные, на норвежском языке, непонятные, — и тогда пришло радио, четкое, по-немецки. В радио говорилось:

«Все время вызывает неизвестное русское судно, идущее, повидимому, от полюса — место стоянки судна неизвестно — содержание телеграмм установить не удалось» — говорила радиостанция Шпицберген — —

Все эти дни были пасмурны и тихи, море чуть-чуть выбило, льды, ледники и снег были серы, как сумерки. Круглые сутки возили воду, — люди надрывались с водой и спали все часы отдыха, только. Была полночь, — и тогда с моря загудел ветер, завыл в такелаже, заметал волны, повалил снегом; полночь была стальная, горел красным север, ночное — черное — небо было на юге. На берегу кричала вахта, махая веслами, ведрами, шапками, — на судне скрипели якорные цепи. Капитан вышел первым на палубу, он дал авральный сигнал, команда бросилась на места, все на палубу: «Свердруп» полз на берег — на «Свердрупа» наползали льды, горы, ветер ревел, рвал людей. Капитан давал сигналы в машинное — «полный! полный! полный!» — сматывали цепи якорей, бросали траллы, бросили на тросе лебедку, — чтобы зацепиться за дно, чтобы не ползти на берег. — Ветер выл, ломился, неистовствовал. — Горы ползли на «Свердрупа». — И тогда треснула и поднялась корма, — судно остановилось, — судно стало на кошку: и из машинного сейчас же дали сигнал — авария — машины буксуют —

винт и руль сбиты, — а еще через минуту судно повернулось по ветру, и, уже без руля, без винта, с оборванными якорями, легко поплыло на берег. Можно было уже не считать, как оно тыкалось с кошки на кошку, трещало и ломалось. — Потом оно стало, легло у берега, так близко, что с оставшимися на берегу можно было разговаривать простым голосом. И тогда только люди заметили, что у иных сорвана кожа рук, что все мокры, что шквал уже прошел, что на часах уже далеко за полдн. Капитан бросил шапку (она покатила по палубе, ставшей боком, скатилась в воду), прислонился к вельботу и заплакал. Откуда-то появился — дошел до сознания всех — профессор Кремнев, он был в одних подштанниках, босой, скула его была разбита до крови, — он спросил у Лачинова папиросу, закурил и медленно сказал, как ни в чем не бывало, глядя в сторону:

— Да, знаете ли... Пустяки, — будем здесь ночевать год. Да, знаете ли!.. — и обратился к капитану: — Павел Лунич, команду я беру на себя, да. Все пустяки! Вы посмотрите на часы, мы все-таки боролись четырнадцать часов — —

И через час, — это был уже отлив, и «Свердруп» лежал почти на берегу, — были положены уже сходни, и люди тащили с судна на берег все, что можно было стащить — мешки, тюки, доски. Кремнев, тщательно, осторожно, как у себя в университетском кабинете, переносил баночки, колбы, инструментарию и материалы лабораторий. Работали все весело, очень поспешно, недоумело, чересчур бодро. Матросы топорами расшивали рубки, — механик и радиист прилаживались, чтобы снести на берег динамомашину и радиоаппарат, и у них ничего не вышло. «Свердруп» лежал бессильною рыбой, брюхом наружу, — мачты свисли ненужно. На берегу уже растягивали временные палатки из парусов, и повар на костре

готовил ужин. — А к ночи после ужина, в палатках, а кое-кто [еще на «Свердруп» в незалитых каютах, — заснули все: первый раз после Архангельска заснули на земле, без вахты, непропудным, земным сном. И только один Кремнев, должно быть, не спал, потому что с утра он разбудил часть людей, послав их на вахту, определив две вахты на день, — а когда те пошли тащить остатки судна на берег, он лег и заснул около своих баночек. — Через неделю от «Свердрупа» на воде остался один лишь костяк, а на берегу против него — неподалеку от безвестных развалин избушки — были построены две русских избы и амбар. Эту неделю люди молчали и только работали. — Кругом были море и горы, — горы стали серые, скалы нависли хмуро, грузно, гранит и базальт, мертвью полз глетчер, — и плакала, плакала, стонала скала птичьего базара. — Еще через неделю все было ясно и изучено — и горы, и море, и моржевые дежки — и то, что радио поставить возможности нет, что мир отрезан, предупредить никого нельзя, — и то, что всем, если все останутся живы, придется умереть от голода, к весне, ибо запасов нехватит. — Дни равноденствия быстро сворачивали солнце, ночами прямо над головой горела Полярная и шелестели голубые шоры полярного сияния, — к остаткам «Свердрупа» можно было уже ходить по льду, льды в бухте остановились, смерзались, море от «Свердрупа» сокрыла большая ледяная гора: ночью льды и земля казались осколком луны, ночами у изб наметало снег и видны были песцовые следы, а на льду от «Свердрупа» были видны следы крыс, перебивавшихся со «Свердрупа» на землю, чтобы утвердить что не всегда первыми с тонущего судна спасаются крысы. Днем работали: спидивали мачты, расшивали палубы, рубили дрова, готовили ловушки для песцов, обстраивали, достраивали избы. Вечерами все собирались по избам. В одной из изб все стены были в полках, в колбах, банках

и инструментарии, — здесь жили Кремнев и Шеметов. — Кремнев предлагал всем научным сотрудникам продолжать вести свои научные работы, и днями он сидел у микроскопа, — эта изба называлась лабораторией. В другой избе жили все и ели, и вечерами, сидя на полотах, штурман Медведев играл иной раз одесского Шнеерзона. Катастрофически на «Свердрупе» не оказалось ламп, и избы сначала освещали коптилками, потом механик изобрел нечто вроде керосино-капильных ламп, делал их из термометровых футляров (а через год, когда вышел весь керосин, освещались тюленьим жиром). Профессор Шеметов читал для матросов курсы географии и физики. Мир был отрезан, скалу птичьего базара никто уже не замечал. — Тогда начальник профессор Николай Кремнев собрал совет экспедиции. Собрались все в лаборатории, утром. Председательствовал и говорил Кремнев. — «Ну-те всем вам понятно, что мы поставлены лицом к гибели. Этот остров до нас не был посещаем человеком, возможно, что новый человек не придет сюда еще десятки лет. Конечно, все пустяки, знаете ли. Мы умрем с голода, если мы все останемся живы до весны. Я предлагаю, знаете ли, принять мое предложение. Я не могу отсюда уйти, потому что те коллекции и наблюдения, которые сделали мы, единственные в мире, и я должен их сберечь во что бы то ни стало. Я предлагаю части экспедиции, большей части ее, идти по льду на Шпицберген, на юг, на жилой Шпицберген, знаете ли, на шахты. Это будет иметь огромное и научное значение. Штурман Альбанов сделал еще более трудный поход, на юг к Земле Франца-Иосифа, знаете ли. Те, которые в этом походе дойдут до людей, — вы дадите радио и на будущий год или через два года за мною зайдет сюда судно. Мы будем здесь вести научные работы. Путь к Шпицбергену очень труден, по моим сведениям через Шпицбергенский хребет перешли только три человека,

я предлагаю мужаться. Начальником научной части я назначаю метеоролога Саговского, начальником похода — штурмана Гречневого. Надо построить нарты и каяки, все продумать и выйти недели через три, в ноябре. Вы пройдете льдами» — . . . . .

Через три недели, 4 ноября в двенадцать часов пополудни, это была уже сплошная ночь, отряд в двадцать два человека пошел в поход на Шпицберген. На острове Николая Кремнева оставалось тринадцать человек, двенадцать мужчин и одна женщина. Отряд ушел по льду в обход острова, — Саговский, Лачинов, кинооператор и два матроса задержались на полсутки с тем, чтобы догнать отряд сокращенным путем через горные перевалы. Говорили, будто бы слышали, что Кремнев передал Гречневому револьвер и посоветовал из-за больных и переутомленных не останавливать похода. Кремнев несколько раз выходил из лаборатории, был молчалив и будничен, прощаясь говорил одно и то же: — «будьте здоровы, будьте здоровы» — жал руки и деловито целовался со всеми. Саговский на дорогу выпил спирта, все время шутил, пел с Медведевым Шнеерзона, просил матросов не забывать его кошек. — Ушли эти пятеро от изб в полночь, провожать их никто не пошел. Было очень тихо, тепло, градусов пятнадцать мороза. Горели звезды, Полярная была тут, над головой. Саговский шел рядом с Лачиновым, болтал всяческую ерунду, — Лачинов молчал и не слушал. Было очень невесело. У ледника встретили профессора Василия Шеметова, он гулял, расцеловались. — «Если первые будете в Москве — поклон университету», — сказал Шеметов. — «Ну, а если вы будете вперед нас, то уж поклона не передавайте, — не от кого будет!» — ответил Саговский. — Горы стояли впереди осколками луны, граниты, базальты, лед и снег. Решили подниматься по леднику и от незнания сделали ошибку, ибо на пол-аршина под

снегом был лед и снег катился по льду вниз. Лачинов шутил: — альпинистам, этим спортсменам по лазанию в горах, редко выпадает такое счастье, которое стало горем им пятерым. Сначала ползти в гору было легко, — на полгоры, как показалось им, и на пятую горы, как было в действительности, они долезли быстро, сели закусить и отдохнуть. Полезли дальше. И дальше Лачинов помнил только о себе. Он полез кромкой, где скалы сходились со льдом, рассчитывая, что там камни скреплены водою, льдом, и можно будет идти, как по ступенькам, и там есть промоина, — так первый расчет его спасал, а второй губил, — ибо другие правильно разочли, что выгоднее будет лезть по сметенному в наст снегу, ибо он должен быть отложе. Лачинов лез с винтовкой в меховых штанах и куртке, с лыжными палками в руках, лыжи тащились сзади, — и скоро Лачинов понял, что он выбивается из сил, и тут начало казаться, что и до верху и до низу одинаково, и скалы базальтов внизу, что были размером в многоэтажный дом, стали в табурет, а те, что были вокруг него и снизу казались табуретами, здесь выросли в замки. Пополз дальше на четвереньках, руки уже дрожали, — гора все круче, камни рвутся под ногами, палки в руках мешают, скользит со спины под ноги винтовка, шапка ползет на глаза, дышать нечем. — Лачинова догнал Саговский полезли вместе; те, что поползли по насту, уже далеко впереди, кажется, уже выбрались, махали отрицательно руками, кричали что-то сверху, — крика их разобрать возможности не было, — было видно лишь, что там наверху волновались. Ползли. Отвес становился круче. Сил давно уже не было. Вползли в ущелье, выползли — и увидели, что впереди пути нет: отвес, навес над ними. Теперь было слышно, что сверху кричали, чтобы вернуться, — и люди наверху казались размером в шмеля, их едва было слышно. Саговский полез обратно, — Лачи-

нов понял, что назад ему не спуститься, сорвется, разобьется, погибнет: если по этому отвесу что впереди, проползти, двинуться вверх и налево, с девятости шансами сорваться, то там будет спасение. Лачинов никогда больше не переживал такого ощущения, как тогда, когда он создавал, что действует, движется не он, а кто-то, живущий в нем, инстинкт, ловкий, как кошка, точный, как механика, хоть руки и сердце отказывались работать. Пополз, первый камень сорвался — и сразу сорвалась кожа рукавицы. Сполз сажень вниз, зацепился за камень, — пополз вбок и вперед, — тех, кто был наверху, не видно было за отвесом и сплошной отвес был внизу. Как выполз Лачинов — он не помнил. Сверху спустили веревку и вытащили уже по сплошному отвесу на скалу. — И наверху их встретил ветер, который сразу перебрал все ребра и заохолодил руки так, что они ничего не брали. Полярная была на прежнем месте, но все другие звезды опрокинулись в небо: на часах был полдень. И страшное одиночество открывалось под звездами — земли и моря, где не ступала нога человека. Вдали за перевалом в бинокль был виден огонь — там ждал отряд, туда надо было идти. Сзади в бинокль уже ничего не было видно. — В расщелине двух гор был глетчер, в глетчерных пещерах висели сосульки в несколько человеческих ростов — —

В тот день, когда ушел отряд на Шпицберген, профессор Василий Шеметов, друг Николая Кремнева, так же, как Кремнев, непохожий на кабинетного ученого и похожий на бродягу, писал свою работу о причинах цвета неба и моря. — Начало этой работы было такое:

«Когда в ясный летний день вы глядите на море, вам кажется, что синяя окраска моря зависит от голубизны неба. Однако в действительности положение вещей совсем не

таково, в чем не трудно убедиться следующими примерами. Для этого достаточно сравнить, с одной стороны, насыщенный синий цвет Нордкапского течения, которое протекает в водах Полярного моря, и, с другой стороны, — бледный, зеленовато-серый цвет Азовского моря, над которым сияет яркое южное небо. Выяснением причин цветности моря занимался целый ряд ученых, начиная с Леонардо да-Винчи — —»

— — в день когда ушел отряд, Шеметов писал:

...подставляя в уравнение (1') вместо  $\int_0$  и  $\int$  их выражения, найдем:

$$M_0 = \frac{S_0 + N_0}{\pi} \cdot \frac{\frac{1}{4} \alpha}{\frac{1}{4} \lambda^4 + f[\lambda^4]}$$

или иначе:

$$\frac{M_0}{S_0 + N_0} = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\frac{1}{4} \alpha}{\frac{1}{4} \lambda^4 + f(\lambda)} \dots \dots (1)$$

Нетрудно видеть, что полученное равенство позволяет вычислить спектр того внутреннего света, который сообщает морю его характерную окраску: для этого нужно только знать  $f(\lambda)$  и  $\alpha$ .

Значение  $f(\lambda)$  для различия длин волн было получено целым рядом экспериментаторов [рис. I, кривая № I]. Что касается значения  $\alpha$ , то его также можно определить из опыта, находя коэффициент «абсорбации» света в морской воде» — —

... Лачинов как-то говорил о прекрасной человеческой воле — знать, познавать, водить, познать — —

— — арктической ночью на восток от Шпицбергена и на градусе Могучего над бумагой, картами и таблицами сидел человек Николай Кремнев, — на столе горел в плошке тюленей жир, и против Кремнева сидел второй русский профессор, вычислял углы отражений света в морях, Василий Шеметов. Они молчали, изредка они курили махорку — —

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

На острове Николая Кремнева экспедицией был оставлен гурий. Грамота на пергаменте, написанная тушью, была вложена в стеклянную банку и запаяна в железо. Гурий был поставлен около изб. В грамоте было написано.

«Русская Полярная экспедиция в следующих научном составе и судовой команде [идет перечисление] на экспедиционном судне «Свердруп», выйдя из Архангельска 11 авг. 192\* года, по выходе из Белого моря, пошла на север по 41-му меридиану с непрерывными научными работами через каждые 30'. Начиная с 77°30' с. ш. стали встречаться льды, а на 77°52' была встречена кромка непроходимого льда, преградившего экспедиции дальнейший путь. Экспедиция пошла по курсу истинный NO 64°. Астрономически определить благодаря туманной погоде возможности не представлялось. 7 сент. в тумане появилась земля, один из островов архипелага Земли Франца-Иосифа; ввиду тумана определить земли не удалось. Экспедиция была у земли только несколько часов и вынуждена была уйти в море по причине сильного

шторма; на землю высаживались три человека, второй штурман Бирюков Н. П., матрос Климов В. В., и зоолог Богаевский А. К., — они погибли, так как шторм унес их в виду судна в море. От Земли Франца-Иосифа экспедиция пошла по курсу истинный SW 55, но на другой же день, 8 сент., судно встретило льды и вынуждено было дрейфовать без курса, сносимое льдами на SSW. 27 сент. с судна увидели землю, которая после астрономических определений оказалась не нанесенной ни на одну из карт, а стало быть, неизвестной культурному человечеству. Земля была названа островом Николая Кремнева. Астрономическое местонахождение земли —  $\varphi 79^{\circ}30'N$  и  $\lambda 34^{\circ}27'W$ . Судно стало на якорь в бухте Погибшей Избы и брало питьевую воду, предполагая пройти отсюда к Wiches Bland на Шпицбергене. Но в полночь с 29-го на 30 сент. страшным штормом судно было выкинуто на берег с непоправимыми пробоинами и заполненное водой. Экспедиция, потеряв судно, вынуждена была здесь стать на зимовку. По причине того, что продовольствия нехватало бы всем оставшимся, был снаряжен отряд в составе 22 человек из следующих лиц команды и научных сотрудников [перечисление], научная часть под командой метеоролога Саговского К. Р.; начальником отряда назначен был первый штурман Гречневый В. Н.; по полученным впоследствии сведениям до жидкого Шпицбергена из этого отряда дошел только художник Лачинов Б. В.; — остальные погибли от цынги и переутомления. Отряд ушел с острова Н. Кремнева 4 ноября, взяв с собой

нарты и каяки [идет перечисление всего, что было взято отрядом]. На острове Н. Кремнева осталось 13 человек, которые охраняли собранные материалы и вели научные работы. Отряд, пошедший на Шпицберген, должен был сообщить о местонахождении оставшихся с тем, чтобы за ними пришло экстренное судно. Оставшимся пришлось перезимовать две зимы и живыми остались только двое — начальник экспедиции проф. Кремнев Н. И., и научный сотрудник проф. Шеметов В. В. Спасательное судно «Мурманск» пришло 11 сент. 192\* года, и остров Н. Кремнева был покинут 15 сент. Все научные материалы были забраны. В доме № 2 оставлены продовольствие и огнестрельные припасы [перечисление].

Начальник экспедиции проф. Кремнев.

Научн. сотр. экспедиции проф. Шеметов.

О. Николая Кремнева.

15 сентября 192\* г.»

...Можно рассказывать долго, дни за днями, о том, как бессмысленен и страшен взгляд моржа, как кровавы его глаза, как добродушно и хитро смотрят медведи, что в апреле, когда только солнце на небе, непередаваемо болят глаза человека, как мучителен постоянный мрак зимой, о том, что профессор Шеметов, друг Кремнева, установил актиничность окраски морских животных, что кожа их светочувствительна так же, как фотографическая пленка; — можно рассказать, как на палатках бесконечными ночами перерассказаны были все русские быльи и сказки, и случаи, как умирают люди от цынги; профессор Кремнев продолжал работу Алпатова над



Descaroda, точнее проследил применяемость ее к условиям природы; — можно неделями слушать, как шелестит полярное сияние — —

— университеты, а не матери, родят иной раз людей — и женщины, стало быть. Елизавета Алексеевна, единственная в экспедиции женщина, была такой женщиной. Ее все не любили, потому что она была некрасива, неженственна, говорить могла только о хлорах, белках и атомах, — была сильнее любого мужчины и похвалялась этой силой. Она одевалась как мужчины, в меховые штаны и куртку, волосы она стригла. Она знала — матросы ее звали моржом. Матросы знали, что она — ни разу не была любима женщиной, она сама говорила об этом, она была хорошей химичкой. Ей было — 27, и она — она как все — чувала иной раз, как заходитесь кровью сердце, как немеют, путаются химические формулы в мозгу, как немеют колени — вот эти ее моржовые колени. И знала она: — только не уменье понравиться, не уменье быть женщиной заставляют ее хвалиться здоровьем и силой — к тому, чтоб понравиться. И это она обрезывала ногти гарпунеру Васильеву, и она штопала рубашки всем, и это она — от обиды, от стыда — плакала в углу, громко, по-моржовьи, когда вдруг услышала, как шутили матросы и младшие сотрудники о том, что на этой земле ни разу не было женщины, тем паче девственницы, не было свадьбы, — и надо кинуть жребий, кому быть ее мужем — во имя необычности земли и обстоятельств; — и все же тогда, за стыдом и слезами, нехорошо, бессмысленно, мутно ныла ее грудь. Они жили все в одной избе, у нее был угол за печью, на нарах под полотнами. Все были уравнины в правах и костюмах, и она, как все по очереди, растапливала по утрам снег, чтобы умываться, пилила со всеми дрова, слушала матросские были и небылицы, — иногда она ходила в лабораторию к колбам и препаратам. Мужчины много говорили о жен-

щинах. Была сплошная ночь, метли метели, горели звезды и северные сияния. К утрам, определенным условно часами, углы избы промерзали, покрывались колким, звенящим инеем, большим, как серебряные гривенники. Люди спали в полярных мешках. — Мужчины издевались над Елизаветой Алексеевной. — Потом они перестали говорить с ней, о ней, о женщинах. И тогда она заметила, что ее ни на минуту не покидают мужчины. О ней перестали говорить, — она видела, куда б она ни шла, неподалеку от себя мужчин, и мужчины следили не за ней, а друг за другом. Но на себе она довила упорные, бессмысленные взгляды. И ей казалось, что она погружена в сладковатую дурманящую, липкую мусть, от которой неуверенными делались ее движения, от которой часами хотелось лежать, вытянувшись откинув голову и за голову закинув руки, крепко сомкнув колени. Это было в первый месяц, как отряд ушел на Шпицберген, в сплошной ночи. Люди вдруг замолчали. Метели и снега по крышу заровняли дом. Кремнев приходил и силой гнал вахты на работы. — На «Свердрупсе» в трюме распиливали на дрова скрепы выбивали их изо льда. — Елизавета Алексеевна пилила в паре с гарпунером Васильевым. Хромой и Хрендин кидали в люк дрова на лед; Хромого позвали наружу, — Хрендин закурил и выполз за Хромым; — и тогда Васильев, бросив шилу, очень нежно, стоном, прошептал: — «Лиза», — и беспомощно протянул руку, и беспомощно, бессмысленно приняла эту руку она, опустила голову, опустилась, села на бревно — беспомощно, бессмысленно, покорно, в той сладкой липкой мути, что так ныла у сердца; — и тогда из мрака, из-за балок, прыжками, с остановившимся лицом набросился на Васильева штурман Медведев, — он схватил его за плечи, он бросился ему на горло и стал душить, — и два человека, молча, храпя покатались по льду, душа друг друга, с остановившимися бессмысленными лицами.

Она сидела покорно; сверху вниз бросились люди разнимать. Ни Васильев, ни Медведев ничего не помнили и не понимали, — или им хотелось не помнить и не понимать, — они дружески заговорили о пустяках, покурили, стерли снегом кровь и пошли работать. — Она ушла в избу, забилась молча в свой угол и лежала неподвижно там, до конца вахты. После вахты она вдруг вновь заговорила со всеми, весело, шумно, позвала идти гулять, на дыжах; пошли за нею многие, кроме профессоров и врача (у врача уже пухнули в цынге десны и ноги), у избушки, где был скат и наст, она толкнула вдруг Медведева, тот схватил ее, чтобы не упасть, и вместе они покатались вниз по снегу, а за ними попрыгали все, друг на друга, зарываясь, зарывая в снег. Тогда была луна, снег был синь, горы и глетчеры уходили во мглу, снег сыпался и звенел, — скелет «Свердруп» распух от инея. Играли в снежки, катались с гор, все хотели скатиться с Елизаветой Алексеевной, все хотели засыпать ее снегом, все валяли ее в снег. Под беззлагодольной луной по пояс в снегу эти люди, в мохнатых одеждах, с их криками, рассыпающимися в пустой тишине, двоились синими своими тенями. Медведь влез на льдину, прислушался, присмотрелся, пошел в сторону под ветер, чтобы обнюхать; не его, а его синюю тень увидел матрос Хромой, побежали за винтовками, стихли, рассыпались цепью, пошли в облаву, охоту повел Кремнев, вышедший для этого из избы; медведь попятился на лед, — люди прятались за торосами, обходили ропаки, медведь выгрос на ледяной горе и скрылся за нею. Елизавета Алексеевна шла одна, с винтовкой. Она остановилась, посмотрела на луну, — и сразу, круто повернувшись, пошла обратно, в сторону, спряталась в торосе, легла на снег — вдали затрещали выстрелы, выстрелы стихли, мимо прошли двое к избе, возбужденно говорили об убитом медведе — тогда стали кричать: — «Елизавета

Алексеевна-а!» — выстрелили; — она лежала на снегу и плакала — —

— — ночью, когда все спали, она услышала шопот, шептались штурман Медведев и гарпунер Васильев; Медведев сказал, и голос его прервался: — «ты разбуди ее, замани, скажи, начальник позвал, я буду у избы. Ты — первый» — — и Елизавета Алексеевна замерла, — слышала, как бесшумно скрипнула дверь, как скрипнула у стола половица, — потом все исчезло за шумом сердца: тогда она поспешно зажгла одну, две, три спички, в полуаршине от нее было лицо Васильева, оно было страшно, рот был искривлен, — но в спичечном же свете она увидела, что у печки, босой, стоит младший гидролог Вернер, с поленом в руке, что свесил ноги с палатей напротив Хрендин. Из тесного угла, из-за перегородки, хрипло и покойно сказал капитан: — «Васильев, собака, на место!» — Капитан стал одеваться, оделся, вышел из избы. Сказал Хромой: — «По начальству пошел, доносить! Пущай, не боимся. Все равно никому не дадим бабу! Он все начальника убеждает перевести ее в лабораторию, для себя, значит!» — Спать можно было еще много часов, но, потому что безразлично, когда спать, ибо круглые сутки ночь, все стали одеваться. Хромой сказал: — «Васюха, твоя очередь, грей воду». — Тогда из угла за печкой послышались рыдания Елизаветы Алексеевны и тот же Хромой полез утеплять ее. — «Брось, девынька, дело такое, ты посуди, мужики ведь, сила, ты прости нас, дело такое!.. что же это мы сами-то? с ума сошли все, что ли? — ты потерпи!..» — Подошел гидролог Вернер, товарищ Елизаветы Алексеевны по университету, взял руку — думал ли, что делает? — прижал ее руку к лицу, сказал тихо: — «Ты прости меня, Лиза, прости, любимая! Я готов за тебя отдать жизнь, прости меня!» — С капитаном вошел в избу Кремнев, сказал: — «здравствуйте!» — сел к столу, по-

молчал, посмотрел в сторону, заговорил, — «Ну-те, с сегодняшнего дня приступаем к работе, видите ли. С положением нашим шутить не стоит. Дойдет ли отряд Саговского до людей, неизвестно, — а доктор у нас уже захворал, ну-те, повидимому, цынгой. Приказываю разобрать по бревнам, вырубить изо льда остатки «Свердрупа» и сложить их на берегу. Работать трехменной вахтой, по три человека. Вахтенные начальники — я, профессор Шеметов и капитан. Весной, когда взойдет солнце, по моим чертежам мы построим большой бот и пойдем на юг под парусами. Работать предлагаю как можно усерднее, ну-те... Затем я хотел сказать до меня дошли слухи, знаете ли. — Елизавета Алексеевна, вас просил к себе Василий Васильевич, — пойдите к нему»... — Кремнев подождал, когда она вышла. — «До меня дошли слухи, что здесь установились болезненные отношения с Елизаветой Алексеевной. Причины, видите ли, мне совершенно ясны. Обвинять я никого не намерен, но погибнуть мы можем все, так как на этом часто сходят с ума. Единственным разумным средством было бы удалить отсюда Елизавету Алексеевну, остальное все паллиативно, — но такой возможности у нас нет (с полатай перебил Кремнева Хромой, он сказал: — «Сделать надо одно, приказать ей спать с каждым по очереди, а то мужики перережутся, — не погибать же нам всем из-за нее одной!» — Кремнев сделал вид, что не слышал Хромого...). Ну-те, возможности удалить Елизавету Алексеевну у нас нет, допустить насилия над ней я не могу. Такая напряженная обстановка возбуждает ее, несомненно: если она изберет кого-либо из нас, остальные не допустят этого... Я, знаете ли, могу сообщить и заявляю об этом, что каждого, кто посягнет, — застрелю!» — Кремнев встал. — «Определите, кто в какой вахте хочет работать» — —

Прошли еще недели.

— — была метель, такая, когда ветер дул, как из трубы, разметал снег, ломал льды и камни, нес их вместе со снегом. Люди не выходили из избы, избу заровняло снегом с землей. Вахт не было. В избе были тепло, духота и мрак. На столе чадили масленки. Двое играли в шахматы, один писал дневник, остальные лежали по нарам во мраке. Только что поужинали. На нарах Хромой рассказывал, как мальчиком он ходил на поморском паруснике: поморы, тайком от жен, в трюмах увозили с собой из Вардэ норвежских девок; и Хромой рассказывал, что делали поморы с этими девками; — Елизавета Алексеевна лежала у себя в углу, сказала гидрологу Вернеру, чтобы он принес огня от масленки, закурить. Закурили оба, и Вернер сел на койку рядом с Елизаветой Алексеевной. Хромой продолжал рассказывать. Папиросы потухли, в углу было темно, — Вернер положил руку на плечо Елизаветы Алексеевны, — сказал сонным голосом: — «А расскажи, Хромой, как ты тонул!» — «Я-то? — откликнулся Хромой, я, брат, и сам не знаю, как это я на ногах хожу и цел остался!» — Елизавета Алексеевна обеими руками взяла руку Вернера и положила себе на грудь: под рубашкой, потому что все были раздеты в духоте, неистовствовало сердце. Вернер склонился и поцеловал шею Елизаветы Алексеевны, она губами нашла его глаз, потом губы их слились. Руки Вернера прошарили по всему ее телу, она была покорна. Тогда Вернер прошептал ей в ухо: — «Пойдешь со мной в горы? — никто не заметит, там...» — Она ответила: — «Пойду». — Вернер соскочил с нар, пошел к столу, вновь закурил, весело сказал: — «Рассказывай, рассказывай, Хромой, очень интересно!» — — Все дни Вернер был возбужден, точно тайком он достал четверть спирта и пьет понемногу. С винтовкой, с топором, на лыжах он уходил в горы и пропадал там многие часы, зверя с собой он не приносил. У двери пропала лопата. Далеко

Горами он обходил свои избы, за ропаками и торосами он приходил к разваленной избушке. Тайком от всех, он прорыл около нее снег, ход завалил снегом. В избушке размел он снег, смел его с нар. Однажды Вернер сказал, что идет в поход за горный перевал, взяв с собою спальный мешок, — он вернулся через сутки, заявив, что обессилел и мешок оставил на горах неподалеку — —

— — и был такой вечер, когда Елизавета Алексеевна вышла из избы, чтобы пойти в лабораторию. Минут через двадцать после нее вышел Вернер. Вернер, на лыжах, с винтовкой, скатился на лед, — бухтой, между торосов, пошел к разбитой избушке. За ропаком показалея вдруг Кремнев, он шел к избам, он сказал: — «Это вы, Илья Иванович?» — «Да, я». — «Вы куда идете?» — «Я хочу побродить немного». — «Вы мне не одолжите винтовку? — едва ли будет опасность». — «Пожалуйста», — и они расстались. У края косы Вернера ждала Елизавета. Вернер подошел к ней неровными шагами, она протянула руки, она склонила голову ему на плечо, он взял ее голову, чтобы заглянуть ей в глаза, чтобы поцеловать. Рядом была безвестная избушка. И рядом тогда раздался выстрел, и Вернер ощутил, что в руках у него — только осколок головы Елизаветы. Но Вернер ничего не успел осознать, ибо второго выстрела он не слышал — не мог слышать — —

— — ночь, арктическая ночь. Над бумагами, картами и таблицами сидит человек Николай Кремнев. На столе в плоске горит жир. И против Кремнева сидит второй человек — Василий Шеметов. Полки в полумраке поблескивают рядами склянок. На столе у плоски лежит винтовка. И Кремнев смотрит над бумагами, картами и таблицами. — «Как ты думаешь об этом, Василий? Ты меня судишь?» — «Я не совсем понимаю, причем тут он? Во всяком случае, нужно б там оставить винтовку, — все знают, что эта винтовка была у него». — «Я сам об

этом не заговорю — все знают и мои лыжные следы, а если бы я взял чужие лыжи — —»...

— — От отряда метеоролога Саговского осталось два человека: он, Саговский, и Лачинов. Было двадцать девятое июня. Было 29 июня, русский Петров день, вечное в Арктике солнце. Все остальные в отряде погибли в переходах по льдам и в зиме. Не оставалось ни хлеба, ни соли, — была одна коробка спичек. Это был последний переход к Шпицбергену, это было на Шпицбергене, в Стор-фиорде, в Валлес-бае: оставалось только перевалить через хребет, чтобы быть у людей. — Лачинов и Саговский лежали на льду, саженьях в пятидесяти от отвесного обрыва ледника, саженьей в пятнадцать вышиною. Как валялся рядом. Здесь они были уже третий день. Они были совсем у земли, у лагун на мысу, лед был зажат до самого берега и по нему было бы можно идти, если б мог ходить Саговский. Начался отлив, лед стало разводять, — и тогда подул зюйд-вестовый ветер и скоро стал трепать. Если бы здесь были большие поля льда, беда была бы невелика: утихнет ветер, сожмется лед, только и всего. — Они сидели на льдине сажени в четыре квадратных величиною. И вскоре по льдине стали перекатываться волны, лед разгоняло ветром и отливом, земля попятилась назад, зыбь пошла крутая. Ити на каяке возможности не было: его изрезало б мелким льдом. — И земля скоро скрылась в тумане. Людям делать было нечего: они завернулись в парусину, прикрылись каяком и завалились спать, — есть было нечего. Четырехсаженная их льдина ходила под ними так, что толковее ей было бы переломиться. К одиннадцати часам — к астрономическому полдню — ветер затих и лед погнало к земле. Вскоре возникла земля, льды прижало к ней: но это был уже ледник, уходивший направо и налево за горизонт. Люди были, как в мышеловке. Кругом

был поломанный мелкий лед попеременно с шугой, и спереди была отвесная пятнадцатисаженная стена. Есть было нечего, и болели, слезились от света распухшие глаза. По мелко битому льду идти было некуда. Опять спали, и перед новым отливом пошли лезть на ледник. Они нашли трещину шириною в сажень. Они бросили каяк, мешки, гарпуны, секстан, все, оставили винтовки, топор и лыжи. Трещина была замечена снегом, снег покрылся коркой льда, — топором в этом снегу они делали ступеньки и забивали в него для опоры ножи; так они вылезли наверх, на пятнадцатисаженную стену. Сверху они видели, как льдина, на которой они жили, лопнула, перевернулась и лед начало отжимать от берега отливом. — На лыжах они пошли к горам, к скалам, на мысок залива, чтобы там на птичьем базаре убить гагу, чтобы есть ее сырой. Саговский едва шел, он не мог идти, у него подгибались ноги, он спотыкался и полз на четвереньках, бросая лыжи — —

— — и на этой земле Саговский умер от цынги. Он уже не мог ходить, он только ползал на четвереньках. Он невпопад отвечал на вопросы. Он не открывал глаз. Лачинов сжег лыжи и согрел Саговскому воды, Саговский выпил и задремал, ненадолго: он все время стремился куда-то ползти, потом успокаивался, хотел что-то сказать, но у него, кроме мычания, ничего не выходило. — Солнце все время грело, на солнце было градусов семь больше нуля. Лачинов перед сном снял с себя куртку, покрыл ею Саговского, лег рядом с ним. Ночью (это был яркий день) Саговский разбудил Лачинова. Саговский сидел на земле, подобрав под себя ноги калачом, он заговорил: — «Борис слушай, кошечек моих не забудь, никогда не забывай! Помнишь, как они страдали от качки? — их надо спасти, необходимо, — кошчишки мои!.. Ты знаешь, если человечество будет знать, что делается сегодня под 80-й широтой, оно будет знать, какая будет погода через две недели

в Европе, Азии, Америке, потому что циклоны и антициклоны рождаются здесь. Мои записи — никак нельзя потерять, такие записи будут впервые в руках человечества... А моя мама живет на Пресне около обсерватории — —» Саговский лег, натянул на себя куртку. — Когда вновь проснулся Лачинов, он увидел, что Саговский мертв и окоченел — Саговский даже не сбросил куртки, которой покрыл его Лачинов. Лицо его было покойно — — И этот день Лачинов провел около трупа. На мысу, на первый террасе, руками и топором, Лачинов разобрал камни, сделал яму, — в яму положил Саговского, засыпал его камнями, присел около камней — отдохнуть. На плите из известняка ножом он начертил:

† 30 июня 192\* года.

Кирилл Рафаилович  
САГОВСКИЙ,

метеоролог Русской Полярной  
Экспедиции проф. Кремнева,  
начальник отряда, пошедшего  
после аварии э/с «Свердрупа»  
с острова Н. Кремнева  
( $\varphi$  79°30'N,  $\lambda$  34°27'0''W) по льду  
на Шпицберген. В походе было  
22 человека, из которых уцелел  
один — художник Экспедиции  
Борис Лачинов.

На о. Н. Кремнева осталось  
13 чел. научн. сотр. и команды.

Впереди были горы, за которыми должны были быть люди, — сзади было море, море уходило во льды. Лачинов встал и быстро пошел прочь от могилы, не оборачиваясь, — вернулся, ткнул ногой камень и опять пошел к горам:

едва ли подумал тогда Лачинов, что в нем была враждебность не к этому трупу, — но было в нем озлобление здорового человека перед бессильем, болезнью, смертью. — «Не слушаются, запинаются ноги, лечь бы, лежать, — а я вот нарочно буду за ними следить и ставить их в те точки, куда я хочу! Не хочется шевелиться, лечь бы, лежать, нет, врешь, не обманешь: — встану, пойду, иду, — не умру!».

Лачинов. — Иногда бывает такая тесная жизнь. Москва, дела, дни — конечно, сон, конечно, астрономическая точка. Ужели здоровая человеческая жизнь есть сотни хомутов, в которые впрягается человек к тридцати годам? и — что реальность? — тогда в шторм, в море, и потом все дни, до смерти Саговского, после смерти Саговского — — только одно, что движет, только одно, что сильнее, прекрасней, необыкновенней жизни: — —

— — тогда, там, в географической точке, имя которой Москва, он сразу, в три дня разрубил все свои узлы, чтобы уйти в море, чтобы строить наново, — чтобы Москва стала только географической точкой — — тогда, там, в море, в шторм, мучительно, неясно:

— Москва — жена — дочь — выставки — картины — слава: — ложь! Нет, ничего не жалко, ничего нет!.. Нет — нет, дочь, Аленушка милая, лозинка, ты прости, ты прости меня, — все простите меня за дочь: я по праву ее выстрадал! И вы, все матери, все женщины, которые знали меня, — простите меня, потому что ложью я пострадался. Имею же я право бросить хомуты, и я ничего не хочу, — ведь я только студент первого курса, и я выстрадал, вымучил себе право на жизнь. Ничего не жалко, ничего нет. Работа? — да, я хочу оставить себя, свой труд — себя таким, как я есть, как я вижу. Это же глупость, что море убьет, — а ты Аленушка, когда возрастешь, — прости! —

Там, в море, еще на «Свердруп»: — вот койка, над головою выкрашенная белым, масляною краской, дубовая скрепа, — электрическая лампа, — балка идет вверх, встает дыбом, балка стремится вниз, — рядом внизу какая-то скрепа рычит, именно рычит, — перегородка визжит, дверь мяукает, — забытая, отворенная дверь в ванную ритмически хлопает, — пиликает над головой что-то — дзи-дзи-дзи-дзи! — Надо, надо, надо скорее сбросить с койки ноги, — надо, надо бежать наверх, авралить, кричать — «спасайтесь! спасайтесь!» — Но почему вода не бежит по коридору, не рушатся палубы? — ну, вот, ну, вот, еще момент, — вот, слышно, шелестит, булькает вода! — — И тогда все-все равно, безразлично, негу ничего, — единственная реальность — —

— — Лачинов стоит на верке Северо-Двинской крепости, и луна — величиной в петровский пятак. В бреду возникала реальность: — реальность прежняя была, как бред. — Норвежцы называли русский север — Биармией, — новгородцы называли его: З а в о л о ч ь е м. — Далеко в юности, почти в детстве — ему, Борису Лачинову, студенту, двадцать два, — ей, гимназистке, семнадцать: и это был всего один день, один день в лесу, в поле, весной, у нее были перезревшие косы — и как в тот день не сошла с ума земля, потому что она ходила по земле? — а вечером подали лошадей, ночь пахнула конским потом, и лошади по грязи и в соловьином переполохе везли на станцию, чтобы в Москве ему сдавать экзамены. — Новгородцы называли русский север — З а в о л о ч ь е м: — нет, не одни формы определяют искусство и, как искусство, жизнь, — ибо — как написать? — север, северное сияние, дичь самоедов, самоеды в юртах, со стадами оленей, — поморы, — и сюда приходят ссыльные, сосланные в самих себя, в житье-бытье, — и здесь северная, горькая, пре-

красная — как последняя — любовь; это где-то, — где в тундре пасутся олени, а на водах по морю вдаль проходят парусники, как при Петре I, и поморы ходят молиться в часовни, самоеды — идолам, вырубленным из полена... — И мимо них — в море, во льды, в страданиях — идут люди, только для того чтобы собрать морских ракушек и микроскопических зверят со дна моря, чтобы извлечь — даже не пользу, а — лишний кусок человеческого з н а н и я: благословенны человеческая воля и человеческий гений! — Тундра — такое пустынное небо, белесое, точно оно отсутствует, — такая пустая тишина, прозрачная пустыньность, — и нельзя идти, ибо ноги уходят в ржавь и воду, и трава и вереск выше сосен и берез, потому что сосны и березы человеку ниже колена, и растет морошка, и летят над тундрой дикие гуси, и дуют над тундрой «морянки», «стриги с севера к полуночнику», — и над всем небо, от которого тихо, как от смерти, — и летом белые, зеленые — ночи; и ночью белое женское платье кажется зеленоватым; — а самоеды в одеждах, как тысячелетие... Самоеды, когда идут в тундру, «на Русь», — на Тиманском Камне, в Кузьмином передеске, где сотни сохранилось идолов, убивают оленя, мажут его кровью идолов, и съедают — «абурдают» — сырое оленьё мясо, то, что осталось от идолов; тогда они поют свои песни. — Самоеды вымирают голодом, — а эти ссыльные — ни словом не стоят говорить о временности, это всегдашнее человеческое — посланные в политику, в скуку, н е п о н и м а ю т, спорят — вот об этих самоедах, которым... — И тут возникает большая, прекрасная, последняя любовь, — такая же огромная и прекрасная, как — знание, гениальное, как человек, и последнее, как человеческая любовь. — Так должно написать, не зная З а в о л о ч ь я. —

От Вологды до Архангельска поезд ползет по тайге, и тайга — одно тоскливое недоразумение из елей и сосен

в пятилетнюю сосну ростом, да и то наполовину сваленная и обгоревшая, — леса, леса, леса, — среди лесов болотца, ерунда, ржавая травка, да иной раз целое поле, полянишка точнее, в лилово-розовых цветочках. Станции одна от другой в расстояниях тоскливо-долгих, и все станции однообразны, как китайцы, — и такие, около которых нету ничего, — ни человека, ни души, ни куска хлеба. — В Архангельск поезд пришел утром. Двина заброшена, дика, пустыня, — свинцовая и просторная, и у карбасов носы, как у турецких туфель, и волны — синие — закачали карбас, а солнце было янтарным. На карбасе пошли через Двину, «Свердруп» стоял на рейде, — поднялись по шторм-трапу, поодионочествовали, пока не определился угол. На развороченной палубе заливали и убирали в ящики бутылочки и баночки. Кроме матросов, одного доктора, четырех профессоров, — остальные все студенты. Студенты шутят, пакуют ящики, покупают на набережной простоквашу — пропахли варом и треской. — Архангельск всего в три улицы, тротуары деревянные, каждая улица по семи верст, — за этими улицами в трех шагах начинается тундра. И весь Архангельск можно обследовать в один день, хоть и будут ныть ноги. В местном музее — моржи, белый медведь — все, что здесь произживает, — потом вальки, пимы, юрты, избы, деревянные божки, — все, что создал человек: невесело! Этские длинные тротуары из досок, старинный пятиглавый собор, сумерки, колокола звонят, и мимо идут люди, как сто лет назад, особенно женщины в допотопных платьях и в самодельных туфлях из материи, — на рейде парусные корабли, как при Петре, поморы приехали на своих шхунах, привезли треску, — и кажется, что от Петра Архангельск отодвинулся на пустыки, — З а в о л о ц к а я П я т и н а!.. На пристани тараторят простоквашные и шанёжные торговки, говорок странный, пришепетывающий и с ё: —

«жёнки, идёмтё, та-та-та», — речь, ритм четырехстопные. И над всем пустое небо. — В сумерки, когда поднялась петровская луна, кричал: — «Э-эй, со «Свердрупа» — шлюпку!» — «Свердрупа» чуть-чуть колышет, — деревянный, все время мажется варом, построен по планам смертнейшего китобойного парусника. Люди живут в трюме, рядом ванная и там — по анекдоту — живет англичанин. А рубки над палубой — лаборатории — все пропахли лекарствами в колбачках. Проснулся утром, пошел в ванную и вымылся с ног до головы, вода и холодная и теплая, — выбрился, брился по-странному: коридор между кают на жилой палубе ведет до двери в складочную часть трюма, которая открыта сейчас божьему свету, там светло, — так вот там и брился; в каюте же бриться нельзя, потому что судно стояло на рейде, чистились котлы и не горело электричество, а когда оно не горит, в каютах темно, едва можно читать; на складе свалены были ящики, бочки, канаты, гарпуны, пахло треской, замечательным, единственным в мире запахом, — куда до него тухлой селедке и зеленому сыру! — там он и брился, приладившись на ящике и голлову задрав под небеса. А наверху на палубе один другому диктовал: температура, вес, щелочность,  $H_2O$ , анализ, — две удачные пробы из трех, — планктон, — сети 250, 245 — что-то непонятное — —

— а потом пришла моторная лодка из петровского учреждения, называемого таможней, из дома, построенного еще при Алексее, — и она понесла на взморье, пошла ласкаться с синими двинскими волнами; день был янтарен в этой сини волн. Обогнули Соломбалу, перешли Маймаксу, отлюбовались шведскою стройкой таможни, старую крепостью, отслушали воскресный колокольный перезвон (примерно так сороковых годов), — и корабельным каналом пошли в Северо-Двинскую крепость, построенную Петром. Пикник был, как всегда, с пивом, водкой, кол-

басой на бумаге. По Корабельному каналу при Петре ходили корабли, теперь он обмелел и заброшен, — и там на взморье с воды видны невысокие бастионы, серого гранита маленькие ворота к воде — и все. Северо-Двинская крепость не видела ни разу под своими стенами ни одного врага, не выдержала ни одного боя — она сохранилась в подлинности, — теперь она заброшена, там пусто, никого, — только в полуверсте рыбацкий поселок. Все сохранилось в крепости, только нет пушек, только чуть-чуть пооблупились бастионы внутри крепости, да в равелинах стены заросли мхом, да все заросло бурьяном, — и в бурьяне есть: — малина, малюсенькая, дикая и сладкая, она только что поспевала! — Прошли крепостными воротами внутрь, под стеной, прямо в бастион над воротами, — ворота, воротины — в три ряда и спускаются сверху на блоках. Тишина, запустение. В других воротах, спустив воротины, местные поморы устроили коровник, загоняли туда в стужу скот. Стены облицованы гранитом, а внутри — земляные насыпаны высокие валы, кое-где отвесные, кое-где так, что могут въехать лошади с пушками. Под землей прорыты всяческие ходы и переходы, мрак, каплет вода с потолков, пахнет столетьями и болотами: шли ощупью, со свечей, — наткнулись на потайной колодезь, в круглой чаше гранита. Каменные бастионы, — на крышах растут полуаршинные березы, морошка, клюква, малина, — внутри опустошены, исписаны «красноармейцем такой-то роты», валяется щебень, двери выломаны, разбиты ступени, лестницы. Вокруг крепости каналы со сложною системой водостоков, так что воду можно было произвольно поднимать и опускать, здесь некогда стояли корабли, — сейчас эти каналы затянуты зеленым илом. — Вокруг крепости — северный простор, синяя щетинистая Двина, взморье, северная тишина, — на берегу в поселке сушатся сети и вверх килями лежат кар-



басы. — Лачинов стоял на верке, поднималась петровская луна, были зеленые зыбкие сумерки, от реки шел легкий туман, — но чайки вили «колокольню», к шторму, и —

— под  
верком, в белом платье [зеленовато-зыбким было платье],  
с веником вереска в руках, — прошла она — —

— — и нужен был год Арктики, сотни миль дрейфующего льда, умиранье, мертвь, — чтобы скинуть со счетов жизни этот год, чтоб скинуть целое двадцатилетье, — чтоб после Арктики, после Шпицбергена, — прямо со Шпицбергена: —

— были ветреные,  
пасмурные сумерки, в красную щель уходило лиловое солнце, в красную щель между лиловых туч, — но на востоке поднималась луна, и под луной и под остатками солнца щетинилась Двина. Парус клал карбас на борт. Помор был понур. Лачинов все время курил. Очень просторно и одиноко было кругом. На взморье уже были видны верки крепости, тогда помергло солнце, луна позеленела, и в поселке в одном единственном оконце был свет. Помор сказал: — «Приехали, — ишь, какие гремянные воды в сегодушнем лете». — Пришвартовались, вышли на берег. Было кругом безмолвно и дико. Помор пошел к знакомому дому, постучал, спросил: — «Спитё, православные?» — Из избы ответили: — «Повалилися!» — «Где здесь поселенка у вас живет?» — Поселенка жила в крайнем доме, — в крайнем доме был один единственный на все становище в оконце свет. — «Ну, прощай, старик, — сказал Лачинов, — я здесь останусь» — —

Лачинов постучал в окно. Отперла она. Он вошел и сказал:

— Ну, вот я пришел к вам. Вы меня не помните. Я принес вам всю мою жизнь — —

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В Москве были мокрые дни. И, как каждый день, после суматошного дня, после ульев студенческих аудиторий, после человеческих рек Тверской и лифтов Наркомпроса на Сретенском бульваре, — в пять часов проходил тихим двором старого здания университета профессор Кремнев, шел в зоологический музей и там в свой кабинет — к столу, к микроскопу, к колбам и банкам и к кипе бумаг. В кабинете большой стол, большое окно, у окна раковина для промывания препаратов, — но кабинет невелик, пол его покрыт глухим ковром, — и стен нет, потому что все стены до потолка в банках с жителями морских доньев Арктики. Каждый раз, когда надо отпирать дверь, — вспоминается, — и когда дверь открыта, — смотрит из банки осьминог: надо поставить его так, чтобы он не подглядывал! — Это пять часов дня. — От холодов, от троссов, от цынки — пальцы рук Кремнева узловаты, — впрочем, и весь облик сказывает в нем больше пиратского командора. В кабинете тишина. — От полярной экспедиции у Кремнева осталась одна ненормальность: он боится мрака, в кабинете его светлее, чем днем, горят две пятисотсвечные лампы, — и первым его делом, когда он вернулся из льдов, была посылка ящика семилинейных стекол на Новую Землю, самоедам (эти стекла пришли к самоедам через год). — Кремнев готовился к новой экспедиции в Арктику. Мифология греков рассказывала о трех сестрах Граях — о Страхе, Содрогании и Ужасе, которые олицетворяли собою седые туманы; с рождения они были седовласы, старухи, и у всех трех был один глаз: — Европейская Международная Комиссия Изучения Полярных стран проектировала послать в Арктику щепелины; метеорологи полагали, что, если человечество — радиостанциями — включит Арктику в обиход Земного Шара, вопрос о пред-

сказании погоды будет решен, почти целиком. Международная Полярная Комиссия посылала через полюс, от Мурманска до Аляски, цеппелины. Цеппелин должен было совершить этот путь в семьдесят часов. Первые цеппелины должны были изучить места, где человек еще не бывал, определить места для радиостанций, организовать эти радиостанции, — а затем только три цеппелина, — из которых один будет стоять в Мурманске, второй — в Красноярске, третий — на Аляске, три цеппелина будут сторожить Арктику; каждый будет связан сетью радиостанций, раскиданных у полюса, — и каждый всегда, каждую минуту, связанный радио, будет готов пойти на помощь людям, радиистам, закинутым в с е д ы е т у м а н ы. Человечество сменило трех седых сестер Г р а й — тремя цеппелинами. — Кремнев должен был лететь с первым цеппелином. Он обрабатывал предварительные материалы, составлял план полетов, — собирал охотников лететь в Арктику. В кабинете было тихо, — человек, отодвинув микроскоп, сгорбившись над бумагой, — писал: — Больные руки выводили мельчайшие буквы. Человек, не отрываясь от бумаги, писал очень долго. Затем он достал из кармана твердый конверт с английскими марками, вынул письмо, прочитал — и написал на него ответ. Потом он придвинул микроскоп и стал, глядя в микроскоп, делать заметки для своего труда, того, который он писал по-русски и по-немецки одновременно. — За окном шумела улица Герцена и шелестел дождь: часы в кабинете шли так же медленно и упорно, как они шли на острове Н. Кремнева, — и улица Герцена, Моховая — и вся Москва — отмирали на эти часы. Decaroda устанавливала законы. — Москва астрономически определялась такой-то широтой и долготой. — И в девять постучали в дверь, пришел профессор Василий Шеметов, — сказал: — «Убери ты этого чорта осьминога, каждый раз пугает, — помолчал, сел, сказал,

как всегда: — ты работай, я не помешаю». — Но через четверть часа они шли по Моховой в Охотный ряд, в пивную, выпить по кружке пива; на углу Кремнев бросил в ящик письмо. Моросил дождь. В пивной играли румыны. И Кремнев и Шеметов пили пиво молча. Молчали. Шеметов сидел, опираясь на свою трость, не сняв шляпы, — шляпу он надвинул на лоб. Румыны издевались над скрипками. — Шеметов наклонился к уху Кремнева, еще больше насунул на нос шляпу, тихо, без повода, сказал:

— Приехал из Архангельска знакомый, говорил про Лачинова. Живет со своей женщиной, ни с кем не встречается, не принимает писем, — с Северо-Двинской переехали на Каргу, в тундру — —

Кремнев ничего не ответил.

За окном шумихою текла река — Тверская. — Допили пиво и вышли на улицу. Распрощались на трамвайной остановке и на трамваях поехали в разные стороны. Шел дождь.

---

На острове Великобритания, в Лондоне туман, — двигался вместе с толпой. Часы на башнях, на углах, в аффисах доходили к пяти. — И через четверть часа после пяти Сити опустел, потому что толпа — или провалилась лифтами под землю и подземными дорогами ее кинуло во все концы Лондона и предместий, или влезла на хребты слоноподобных автобусов, или водяными жуками юркнула в переулки тумана на ройсах и фордах: Сити остался безлюдьем отсчитывать свои века. — Девушка (или женщина?) — мисс Франсис Эрметет — у Банка, где нельзя перейти площадь за суматохой тысячи экипажей и прорыты для пешеходов коридоры под землей, — лабиринтами подземелий прошла к лифту, и гостиноподобный лифт пропел сцеплениями проводов на восемь этажей вниз.

В тубе было сыро и пахло болотным газом, — там к перрону, толкая перед собой ветер, примчал поезд, разменял людей и ушел в темную трубу под Темзу — на Кдэпхэм-роад, в пригород, в переулки с заводскими трубами. Девушка знала, что завтра город замрет в тумане. — Там, в переулке на своем третьем этаже, в своей комнате — девушка нашла письмо, на конверте были русские марки. Зонт и перчатки упали на пол: в письме, написанном по-русски, было сказано, что он, Кремнев, опять отправляется в Арктику и еще год не приедет к ней и не зовет ее сейчас к себе. — Тогда зазвонил телефон, говорил горный инженер Глан.

Девушка крикнула в трубку, по-английски:

— Пойдите к чорту, мистер Глан, с вашими автомобилем и цветами! Да! — вы все уже рассказали мне о... о мистере Лачинове! — и девушка затомилась у телефона, девушка сказала бессильно: — Впрочем, впрочем, если вы возьмете меня летом на Шпицберген, я поеду с вами, да!.. —

И девушка, заплакав горько, утала лицом в подушку, на девичью свою кровать: она знала, что — странною, непонятною ей, но одной навсегда любовью — любит, любит ее профессор Николай Кремнев.

...и в этот же час — за тысячи верст к северу от полярного круга на Шпицбергене, на шахтах — одиночеством инженер Бергринг, директор угольной Коаль-компании. Там не было тумана в этот час и была луна. Домик Бергринга прилепился к горе ласточкиным гнездом — —

— — ночь, арктическая ночь. Мир отрезан. Стены промерзли, — мальчик круглые сутки топит камин. То, что видно в окно, — никак не земля, а кусок луны в синих ночных снегах. Мальчик принес вторую бутылку виски, — книга открыта на странице, где математические формулы

определяют расстояние до Полярной. Бергринг подошел к окну, под Полярной горело сияние. Тогда в конторе вспыхнул катодной лампочкой радио: оттуда, из тысячи верст, из Европы, зазвучали в ушах таинственные, космические пуанты и черточки: ч — ч — чч — тт — тс — —.

У з к о е,

11-я верста по Калужскому шоссе.

9 янв. — 2 марта 1925 г.

---

БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ

---

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

**Н**а глаз европейца — все китайцы однолицы; на концессиях европейцы считают бичом, когда один китаец наработает даян сто и уходит к себе в Чифу, продав место брату или соседу за два даяна, — вместе с паспортом. Поэтому надо иметь не-европейский глаз и не-европейское ухо, чтобы услышать у заводского забора разговор:

— Ты — монгол?

— Нет, я китаец. Я хочу быть с Россией. А ты — монгол?

— Да, я монгол. У вас в поезде едет монгол-бой, из Шин-Барги. Мы оба из Шин-Барги, из Кувот-улана. Я поеду вместо тебя.

— — по эту сторону забора — китайский город, муравейник китайского города. Улица забита людьми, рикшами, фонарями, пагодами, плакатами изречений, написанных иероглифами, драконами, красками красными, синими, желтыми, черными, резкими, лакированными. В лавочках на улице вяжутся зонтики, клеятся веера, жарятся на бобовом масле рыба и лук. Мужчины идут в юбкоподобных черных халатах, а женщины в синих ватных штанах, ножками, исковерканными колодками красоты. В храме, кинув тунзэр в ящик чортообразному богу, модельщик дубасит в гонг, чтобы чортоподобный бог

услыхал его молитву. Над муравейником улицы висит шум гонгов, выкриков, свистов, писков, воев, звонков рикш. Запах смолки из кумирен смешивается с запахом бобового масла, ползущего с завода, и по улице ползут запахи священных курений, человеческого и свиного пометов, чеснока, инжира, сладостей. Фонари и красные изречения около публичного дома летят по ветру в пыли. Над улицей нету неба, ибо небо застлано тряпками вывесок и изречений, повисшими через улицу с дома на дом.

И если для англичанина все китайские лица на одно лицо, — то для тысяч китайских глаз лица англичан — очень приметны, до мелочей, до иголки в галстуже, до пломбы во рту. Англичане сидят на повозках рикш, ноги прикрыв плéдами. Лица англичан еще безразличнее, чем лица китайских будд. Гологрудые рикши бегут поспешной рысью. Толпа раздвигается перед рикшами англичан. Рикши осаживают англичан перед воротами завода.

— В этом городе тридцать два маслобойных завода, — говорит англичанин другому англичанину. — До главной линии здесь семнадцать километров. Мы проложим сюда ветку. И мы будем брать надбавку к общему тарифу по одной двухсотой даяна с пуда. Смит, подсчитайте, сколько это даст компании?

Мистер Смит откликнулся со своего рикши:

— Слушаюсь, господин Грэй, — я знаю, что сотые даяна имеют свойство превращаться в сотни даянов, а из даянов всегда легко сделать фунты.

— по ту сторону забора — маслобойный, обрабатывающий бобы завод. На заводских воротах, кроме китайского изречения, маленькая, синим по белой эмали, английская вывеска: «лимитэд» и прочее. Двор маслобойного завода завален горами бобовых мат. В деревянном

бараке заводского корпуса, в температуре сорок выше нуля по Реомюру, китайцы работают вручную, китайцы работают голыми. Там в чанах парятся бобы. Туда в чаны их тащат китайцы на тачках, положенных на спины, а не на колесики. Распаренные бобы дымятся белым паром: стало быть, температура пара выше сорока по Реомюру, — пар душит удушьем бобового запаха. В корзинках, сделанных из рисовой соломы, волоком по земле, голые люди тащат распаренные бобы к кольцам прессов. Два голых человека высыпают бобы в кольцо пресса: мышцы голых тел вздуваются до синевы, обессиленные людские зады дрожат мелким горошком под тяжестью горячих корзин. Тот, что приволок корзину, идет обратно за новой корзиной бобов, — тот, что принял корзину бобов в кольцо пресса, прыгает в кольцо и пляшет там на бобах, уминая их, — и пляшет очень дикий и очень поспешный танец, сваривая ноги в цару бобов. Кольцо с бобами наваливают на кольцо — так до потолка — до потолочной щели, откуда идет свет, — и тогда китайцы свинчивают эти кольца, ломовыми лошадьми, ложась на колья, воткнутые в ворот, — свинчивают кольца с бобами, чтобы выжать из бобов масло. Масло стекает зеленоватыми струйками. Люди тужатся у ворота, ложась на колья, сворачивая их, — и под человеческой кожей ползут желваки синих мышц, а по коже стекает зеленоватый в мути пара — пот.

Англичанин зажимает нос и выходит из прессового отделения.

В дробильном отделении, где дробятся бобы в круцу, в барабанах стоят женщины, — или старухи, или подростки, — голые, с тряпками на чреслах. Они вертятся вместе с барабаном, посредине барабана, подметая сор и сортируя бобы: на этой работе женщины — старухи или подростки, безразлично, — меняются каждые три

месяца, ибо через три месяца такой работы люди умирают. На эту работу — у отцов и сыновей — женщины покупаются с тем условием, что жалованье выплачивается вперед отцам или сыновьям.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Снега нет и земля камениста. О солнце трудно сказать — то ли топором, то ли долотом оно выдалбливает теплоту и краски: на солнце двадцать градусов тепла, в тени двадцать градусов мороза, и тени лиловые, точно мороз здесь лиловый, — а там, где долотит солнце, лучи золота не золоты, а — голубые, блеклые. Непонятно, как солнце может греть, — и можно строить теории о том, что особенность линии и красок восточного искусства объясняются именно этим голубым солнцем, этим голубым светом. Воздух прозрачен до того, что путаются перспективы. Снега нет, и земля камениста, желтая, блеклая. Небо наверху желто и блекло. Сопки вдали направо и налево за подотнами железной дороги — точно кто-то аккуратно насыпал в щели из неба горы песка — желты, облезлы, ненужны, жилью хунхузов.

Там впереди — синие вершины Великого Хингана. Здесь — Китай. Там — Монголия. Там дальше — Урал и Россия, огромная земля многих народов, ушедших в справедливость. Там дальше — Европа, Англия.

У перрона стоит коротенький поезд, три литерных вагона, ресторан, обсервешэн-кар, — площадка с автомобилями — поезд стоит паровозом к Монголии. У обсервешэн-кар спущены шторы, и с подножек на платформу положены сходи, покрытые красным ковром. Обсервешэн-кар существует к тому, чтобы в нем сидеть и любоваться природой, тем, что убегает назад от поезда. Обсервешэн-кар последний в поезде вагон, и задняя его пло-

щадка превращена в терраску, где можно посидеть и посмотреть, как все течет. Обсервешэн-кар — выкрашен в блестящую, синюю краску: — и, если внимательно присмотреться, видно, как под краской скрыты листы стали, — вагон блиндирован до окон: — это к тому, чтоб, если нападут хунхузы, можно было бы спастись, лежа на полу. На перроне перед обсервешэн-кар стоит отряд китайских солдат, в меховых шапках и в ватных штанах.

Полдень. Солнце долотит землю. Ночью была невероятная луна, красная, жестокая, — та, которая предугадывается философией бытия китайского народа и тем таинственным, что делает непонятной в своей пассивности Срединную Республику Голубого Солнца, — но сейчас буденный полдень.

По красному ковру у подножек обсервешэн-кар — в обсервешэн-кар входят англичане, в бобровых шубах и шапках, высокие, белолицые люди. Идущий вперед, самый высокий, говорит начальнику станции:

— Поезд уйдет ровно без четверти час.

Начальник станции отвечает:

— Слушаюсь, господин Грэй.

В коридоре обсервешэн-кар низко кланяется англичанам бой, в белых перчатках и в белой куртке: англичанам не дано видеть лиц людей желтой расы. Бой снимает пальто с англичан. В салоне обсервешэн-кар, в голубом бархате и в рыжей коже — голубой и рыжий воздух. Англичане садятся в кресла. Бой разливает сода-виски, перед ленчем.

— Олл-райт! — говорит мистер Грэй весело. — Мы проведем сюда ветку. Японцы намечают дорогу параллельно нашей, дорога пойдет южнее нашей линии. Господин Смит, мы сделаем маленькую операцию; мы проведем ветки и к югу и к северу от главной линии. Мы удвоим тариф с северных веток, — а с южных — ну, что

же, — мы погоним грузы ниже себестоимости, в угоду японцам, чтобы они не трудились постройками дорог! —

Без четверти час, минута в минуту, отряд китайских солдат берет винтовки на караул, чрезвычайно сиротливо играет военный рожок, — и поезд двигается с места. Мистер Грэй идет на терраску обсервешэн-кар махнуть рукой салютующим солдатам, — и безразличным взглядом мистер Грэй окидывает местность — маты бобов у станционного павгауза, избушку станции, вола у переезда, запряженного в телегу о двух колесах, китайца около вола, сопки вдали, — фанзы, разбросанные по долине и окруженные земляными валами от грабежей хунхузов.

Дальше чин дня и порядков мистера Грэя идет по чинам и порядкам, определенным у англичан от сотворения английского мира. И за ланчем по чинам подают едово бои-лакеи, в белых перчатках и в белых бесхвостых фраках. После ланча чин дня идет в обсервешэн-кар.

Совсем неверно, что у англичан складки брюк должны быть столь же прямолинейны, как проборы волос, а каблук крепки, как скулы. Их трое в обсервешэн-кар. Волосы одного заброшены назад, как у русского семинара, — и, как у русского семинара, — мочалообразны; он одет в краги, в серый костюм туриста, — и костюм и краги очень помяты; имя этому — мистер Смит. Мистер Грэй сидит лицом к окну, следит за бегущими шпалами, серый костюм его — когда-то был блестяще шит, теперь помят, но все же хранит достоинство хорошего портного, — и достойно хранит твердокаменное тело мистера Грэя, хороший экземпляр человеческих мышц, выкроенных в волю, чуть-чуть с излишком прошитую нервами. — Третий, маленький, в хаки, сидит за газетой, в очках, философического вида, нога на ногу, откинувшись к спинке кресла. Мистер Грэй не может сидеть не прямо, — этому

трудно не прислониться к спинке дивана или стула, — он философ-книголюб.

Мистер Смит стоит над мистером Грэем.

Поезд блиндирован. Блиндированному поезду надо тяжело поскрипывать по шпалам, медленно покачиваться, в солидности стали. Но поезд экстренный, — и он стремится, что есть сил. Поезд идет, в сущности, по пустыне, — во всяком случае — по колонии. В обсервешэн-кар сидят — колонизаторы: совершенно не необходимо, чтобы у колонизаторов были пробковые шлемы и по два маузера за кушаком брюк, — эти в мороз сопок выходят в русских бобровых шубах. — Там, за окнами обсервешэн-кар, — чрезвычайно убогое зрелище: пустыня, сопки, похожие на груди китайских женщин, торчащие сосками в небо, желтое небо, — эта дурацкая особенность, когда на солнце жарко, а в тени мороз, — и надо поэтому от времени до времени открывать двери кара, чтобы остудить воздух, накаленный в каре солнцем. Изредка в долинах видны крепостишки фанз, все режеющие.

Поезд идет к перевалам Великого Хингана: — там, за перевалами, — Монголия, страна Тимура, никак не знаемая англичанами страна ханов, хошунов, ванов, гунов, бейле, баргутов, дауров, хараценов, — страшных степей и пустынь, — никем не знаемая страна древнейших богатств, величайших победителей и законодателей, — ныне страна песка, выжженного солнцем, неразгаданной истории и неизвестностей.

— Вы философствуете, господин Смит, — говорит мистер Грэй, — моя же философия проста. Я могу думать только о том, что обработано человеческими руками. Этот мост, который мы проехали, для меня гораздо поэтичнее всех китайских фонариков и всех пейзажей Хингана, которые вы так хотите профотграфировать.



— Господин Грэй! — громко откликается мистер Смит, — но ведь фонарики также сделаны человеческими руками.

— И зря сделаны, поверьте, — возражает мистер Грэй. — Я все время чувствую неудобство от того, что все эти жители говорят на дурацком языке, никому непонятном, и имеют свои обычаи. Я хочу сказать, что для меня поэзией является все, что сделано руками европейца, и мне понятно, как вот этот мост, который мы сейчас переехали. Поверьте, что простая философия нашего философа (— мистер Грэй махнул рукой в сторону третьего, в хаки, сидящего за газетой), — эта философия очень правильна своей простотой. Мы приедем к монгольскому гуну, — так, кажется, зовется их князь? — у него есть свои обычаи, своя армия в триста всадников, свои монастыри, и — и свой банк, — так, собственно, банчишко, где деньги он печатает на типографском станке, украденном из России во время русской революции. Так вот, мы приедем, будем с гуном обедать в его дворце, я ему подарю часы, портсигар, английского скакуна... Его чин — Восседающий на шкуре тигра, — я ему подарю пару шкур бенгальского тигра... И я его позову на ответный обед к себе в вагон-ресторан, — и больше мы с ним никогда не увидимся. Да, он мне больше не нужен. Но наш философ поедет к нему еще раз, еще раз руками будет есть конину, — а потом ему и его графам и баронам так тихо предложит организовать, привести в порядок — понимаете? — привести в порядок их банчишко, — быть может, даже мы станем пайщиками. И все. Гуну, с его армиями, некуда будет податься. У нас будет база, вооруженная конниками гуна, потомка Тамерлана и русских татар, — и пусть сколько угодно кричат из Урги и из Москвы русские коммунары. Это — философия нашего философа, потому что он знает простую бухгалтерию и —

как вы говорите у себя в парламентах? — теорию финансового капитала? Гун вместе со своими всадниками будет у меня в жилетном кармане. —

Третий, философ в хаки, вылезает из своего кресла, очки он ссовывает на лоб, — и видно, как его хаки старательно измято креслами и стульями, на которых он пересидел за век своего хаки. Философ стоит, заложив руки в карман, молчит и идет в уборную.

Мистер Смит широко машет рукою, откидывая спичку, дыма трубкой.

— Ну-да, — говорит мистер Смит, — вы правы, господин Грэй, для вас тут есть поэзия борьбы, поэзия хитрости, организации. Если вы решили построить железную дорогу в Монголию, вы должны создать для нее почву. Но разве вас не будет опьянять морская буря, любовь к вашей жене или даже к маленькой японочке? Вы приберете к рукам степи этого князя, этого феодала, — и все. А я хочу увидеть, как столетия песков Монголии и монгольские табуны в испуге побегут от поезда, — я хочу научиться есть по-монгольски так, чтобы у меня не сжималось горло в рвотной судороге. И я хочу понять музыку китайских барабанов... Когда сегодня мы будем переваливать через Хинган, я прикажу остановить поезд на вершине, — и я пойду посмотреть окрест, — потому что это я, Ричард Смит, рядовой англичанин, стою на вершине Хинганского перевала... Ну-да, вы говорили, что для новой ветки придется рвать тоннель. Я приеду тогда на работы, чтобы смотреть, как человеческий труд врывается в недра земли. Завтра, или вообще, когда мы будем в степи, я поеду в монгольские монастыри, чтобы посмотреть лам, — и завтра же я проеду на наши каменноугольные шахты, чтобы посмотреть, как работают китайцы.

Мистер Грэй улыбается саркастически.

— Я видел, господин Смит, как вы сегодня утром на нашем маслобойном заводе зажимали нос, — я не ошибся? — говорит мистер Грэй.

Третий, философ в хаки, возвращается из уборной.

— Вам не кажется, джентльмены, — говорит он, — что вы разговариваете только для того, чтобы разговаривать, хотя у нас есть работы более существенные. Например, надо выпить сода-виски и после виски приступить к совершенно скучному подсчету тарифов с северных и южных веток и также обсудить, какую сумму мы жертвуем на подарки гуну и графам. Я философствую о том, что деньги любят счет, и больше ничего... Кто из вас позаботился о переводчике, при помощи которого мы будем говорить с монголами?

Мистер Грэй встал со своего места, расправляя квадратные свои ноги. У англичан плоская ступня, и рыжие его ботинки на толстой подошве задрали носки вверх.

За окнами на землю светит странное солнце, у этого солнца, должно быть, небольшое и недоброе сердце. И поистине нищенская земля лежит за окнами, нищенски пустая, без единого кустика, засыпанная песком, покрытая иссохшими сопками. И только впереди возникает Великий Хинган, синие горы, отделяющие одну пустыню от другой. Там, меж сопками, и по эту сторону Хингана и по ту — живут люди, раскиданные на десятки километров друг от друга — живут в пустыне, нищенстве, в жесточайшем труде. И солнце на желтом небе идет тем же путем, что и поезд, — на запад, — обгоняя поезд. Невесело, когда кажется, что все время один и тот же пейзаж бежит вместе со стальным скрежетом блиндированного поезда. — Мистер Грэй и третий, бухгалтер сидят за столом, за счетами, за цифрами, — и у них в руках огромные рыжие паркеровские вечные перья. Перед ними раз-

ложены карты и планы. — Мистер Смит меланхолически вынимает из жилетного кармана малюсенький органчик, такой органчик, который может наигрывать всего-навсего «Типерери» — мистер Смит заводит его, прикладывает к уху и меланхолически слушает, наслаждается музыкой; завод органчика разворачивается, — мистер Смит заводит его вновь. — Солнце обгоняет поезд, чтобы уйти за Хинган, в вечном своем пути.

Так идет день в обсервешэн-кар. Вагон-ресторан отделяет обсервешэн-кар от трех литерных вагонов. И там, в этих трех литерных вагонах, кроме людей, засели — строгая солидность, медлительность, серьезность, портфели, арифмометры, карты, планы, чертежи: — здесь походная канцелярия начальников службы пути, начальников тяги, движения, прочее. Поезд идет с ревизией дороги, — и курьеры высохшими листьями бамбука, в белых курточках, стоят у дверей, в ожидании распоряжений. На твердых стульях, за зелеными столами сидят начальники и солидность, в карандашах, арифмометрах, в синем сигарном дыму. Здесь готовятся отчеты, выполняются задания, сложнейшая ведется бухгалтерия и арифметика — о тарифах, о пудо-верстах. Люди, творящие планы, солидность и табачный дым, — растворяющиеся в планах, солидности и бухгалтерии, — все одеты очень солидно в синие форменные сюртуки. Уже отдан приказ — каждому начальнику после фэйф-клок-ти надо итти на доклад по начальству, в обсервешэн-кар. Очень существенен факт, как одернуть сюртук и как ловкое слово сказать пред начальством, — и этим трем литерным вагонам совсем ни к чему — ни долотливое солнце, ни нищенство сопок и китайцев среди сопок: — этим вагонам надо немного — надо солидность снести в обсервешэн-кар. Солидная скорость бегущего поезда, — это сделано ими, солидностью их бухгалтерий и расчетом пудо-версто-часов.

Между обсервешэн-кар и литерными вагонами — вагон-ресторан. Солнце обогнало поезд, спустилось к Хингану, солнце скоро уйдет за Хинган, чтобы оставить место невероятностям жестокостей луны, той, по понятиям европейцев, которою определяется ночная философия китайского народа. В семь в вагоне-ресторане будет обед, тогда в вагоне-ресторане соберутся все вместе, и из обсервешэн-кар и из литерных вагонов. А пока в вагоне-ресторане полумрак. В полумраке бои раскладывают на столах тарелки, ложки, вилки, рюмки и бокалы и розанами громоздят перед тарелками салфетки. В кухне полыхает плита, на цинковом столе разложены мяса вола, индюшек, рыбы. В кухне очень жарко. Китаец-повар в белом колпаке сгорает перед печью, — около него работает помощник. Здесь нету никакой философии и никакой солидности; люди рубят мясо, чтобы повкуснее приготовить мясо для людей, которые соберутся в солидности умений держать вилки и ножи. За окном поднимается луна. Старший повар смотрит в темноту, козырьком сложив над глазами руку в кусочках мяса, — и повар говорит:

— Проезжаем мимо Ху-Кэ-Шань, — здесь я бегал мальчишкой, здесь мне знакома каждая горка и каждая норюшка тарабагана! — но старший повар не успевает договорить, потому что речь его прерывает шипящее масло; повару надо следить за маслом, за мясом, за соусами.

— Ада-Бекир, — говорит старший повар тихо, совсем неслышно в шипении масла, — если монголы теперь оторвут от Китая Шин-Баргу, Хичун-Баргу, если вы оторвете Халха-Голен, Хан-Чандамани-улаин, Цзун-Уцзуму-чин, земли Ху-Ке-Шаня пойдут за вами...

Младший повар отбивает обухом ножа мясо, чтобы оно было мягче, — он молчит, склонив голову. Старший повар знает разницу лиц Востока, и он хорошо знает,

почему так крепко стянуты губы и глаза его помощника — монгола Ада-Бекира, героя для него, повара, и для остальных китайцев, и — безличного боя для англичан. Младший повар, как и старший повар, наряжен в белый колпак. Младший повар медленно смотрит в окно и говорит, отвечая, должно быть, своим мыслям:

— У вас, у китайцев, есть притча о том, как один человек стал строить себе фанзу. У него было очень много друзей, и все друзья ему давали советы, как лучше построить дом, и он всех слушал и поступал так, как ему советовали, — и он не построил никакого дома. Так случается даже тогда, когда человек слушает только дружеские советы.

Тогда в кухню входит бой-лакей из обсервешэн-кар. Он говорит:

— Ада-Бекир, у меня есть новости для тебя.

— Говори, — отвечает Ада-Бекир.

— Старший англичанин Грэй сказал мне, что я буду переводчиком при переговорах англичан с нашим гуном. Ты понимаешь, я должен буду остаться тогда в степи, иначе англичане меня погубят.

— Что же, очень хорошо, ты проводишь англичан к гуну и тогда скроешься. Англичане, все попрежнему, сидят над картами и планами? — сказал Ада-Бекир. — На перевале поезд остановится, потому что там англичане пойдут гулять. Там меня ждут. Там я брошу поезд и нашими тропинками случусь в степь. За ночь на коне я буду в степи уже за сотню верст и я поспею в Дауру к тому времени, когда англичане приедут к гуну. Мы не отдадим Барги англичанам. Ты покинешь поезд, оставшись в Дауре.

Чин вечера идет у англичан, как положено ему итти от сотворения английского мира. За окнами не видны пространства. Не видно, что поезд пополз долинами, обры-

вам, мостами, выше, выше, к перевалам, к вечному снегу, к холоду, к просторам холода, заледеневшим от луны.

Но там, в просторе вершины перевала, по приказу англичан, поезд стал. Собственно, это был час, когда англичанам надо ложиться спать, — но тем не менее англичане выходят на снег, к подожкам вагона. Направо и налево от путей, в голубых под луною снегах исчезают во мрак лесистые вершины гор, — но назад и вперед открываются широчайшие просторы мрака Китая и Монголии. Луна светит сорокаградусным морозом, снег лежит твердойшей коркой, камнем под ногами. Мистер Смит идет вперед по снегу. Мистер Смит говорит громко:

— Все же во мне еще сидит дикарь, все еще сидит древний сакс, который когда-то жег, грабил, насиловал, бил и побеждал кулаком. Там, впереди нас, лежит страна, страна жесточайших войн, жесточайшей крови. Мы идем победить эту страну. Я ничего не знаю про эту страну, — но почему сейчас нигде нет уже таких стран, где можно было бы палкой заставлять людей ходить на четвереньках, палкой заставлять женщин предаваться любви, палкой раздевать женщин?! — Я знаю, я первый не допущу этого, но иногда это бурлит в крови. Какой простор, какая луна, какие дали! Ведь мы стоим на вершине древнейших гор, по которым люди ползли уже тогда, когда Британии не было еще во чреве матери. Теперь здесь стою я, британец, — и мне хочется быть дикарем!

Мистер Смит говорит очень убедительно, — но мороз бессловесно колет еще убежденней. Англичане ежата от мороза, поскрипывая каблуками в снегу. И вскоре англичане идут в вагон, предоставив величие природы самому себе. Кондуктор бежит от одного вагона к другому, машет фонарем, и поезд медленно движется, идет, уходит. На шпалах остается тишина ночи, блестит в снегу луна.

И около шпал поднимается со снега человек. Человек осматривается кругом, — и тогда человек свистит в два пальца, пронзительно, по-степному. И слева, из темных ершей сосен, ему откликаются успокаивающим посвистом. Из темных сосен выезжают всадники. Они ведут в поводу свободных лошадей. На седле одной из них навьючена человеческая одежда. Тот, что остался от поезда, надевает на себя овчинные штаны, высокие валяные сапоги, меховой — козий — халат, остроконечную шапку, — и он — монгол — ничем не отличим от тех, что приехали встретить его. Густогривые, низкорослые лошади, промерзнув, непокойно помахивают гривами. — И люди мчат над обрывами, горными тропинками, ведомыми только им.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Всадник стоит у железнодорожного переезда. Лошадь его мохната, низкоросла, большеголова, — лошадь испуганно смотрит на поезд, ставший перед станцией. На лошади сидит монгол, — он сидит на лошади, как сидят все монголы, сгорбившись, высоко подобрав ноги, некрасиво и в то же время так, что он кажется слитым с лошастью. И монгол безразлично смотрит на поезд, — так он может смотреть часами, не шевельнувшись, не мигнув. — Из поезда выходят люди, люди идут к автомобилям, стоящим перед станцией, — и монгол быстро-быстро мигает. Люди сели в автомобиль, — и тогда лошадь монгола стремительно, закидывая ноги за опущенную голову, мчит через пристанционный китайский поселок, мимо монгольского поселка — в степь.

В поезде, в обсервешэн-кар, англичане очень внимательно просматривают свои браунинги и кладут их в карманы шуб. Англичане же одеты в шубы и шапки. Шуба третьего распахнута, из-под нее торчит хаки, очки его

сердиты, он говорит четвертому. Этот четвертый стоит у дверей с шапкой в руках, в форме железнодорожного чиновника, с лицом русского. Лицо русского расстроено и красно.

— Сто чертей! — говорит философ от бухгалтерии, — вы — инженер, мы доверили вам ответственный участок. А вы докладываете, что у вас сбежал агент и что у вас не осталось своего доверенного хорошего переводчика. Мы совершенно не знаем, как умеет говорить по-монгольски наш бой.

Инженер отвечает не громко:

— Здесь почти невозможно работать. Монголы срывают всю работу. Этого агента я готовил несколько месяцев, он был совершенно предан. Только вчера вечером я говорил с ним. Ночью он исчез. Я не понимаю, куда он делся, никто его не видел.

Инженера перебивает третий, философ от бухгалтерии:

— Но откуда монголы узнали, что приедем мы? Были какие-нибудь телеграммы? Этот знал о нашем приезде?

— Я уже показывал вам телеграммы. Как я докладывал, одна из них была Ада-Бекиру, молодому монголу, которого подозревают в революционных идеях, и который был в Урге и в России, — но из этой телеграммы ничего нельзя понять.

— Хорошо, — говорит философ бухгалтерии, — идите, распорядитесь машинами, мы выйдем через две минуты.

Когда начальник дистанции вышел из обсервешан-кар, третий сказал раздумчиво:

— Какая-то ерунда, непонятно. Вы знаете, джентльмены, что ночью от нас с поезда сбежал поваренок, которого подозревают в том, что он был монголом. Но, все равно, мы едем. — Бой! — крикнул философ бухгалтерии. — Оденьтесь потеплее, вы поедете с нами переводчиком к гуну.

Солнце долотит землю, на солнце жарко, а в тени — мороз, и тени лиловые, точно мороз лиловый. За переездом лежит беспредельность степи, бестенная, выжженная морозом и солнцем. В первом автомобиле садятся англичане, начальник дистанции и переводчик. На второй автомобиль садится китайская охрана. — Автомобили рывкают, поворачиваются, — непонятно монголам силою движутся к переезду, где только что стоял всадник. И в китайском и в монгольском поселках детишки вместе с собаками, в крике и визге, летят врассыпную. Лошади в монгольском поселке лезут на стены, волы и овцы бегут перед автомобилем, не сворачивая его рывком. И только караван верблюдов за околицей покоен перед автомобилями — в медленном своем шаге перед долгими путинами пустыни, в медленном позвякивании колокольцев на змеиных верблюжьих шеях. Автомобили кроют землю стремительной солидностью.

В поселках были теснота переулков — пестрота лаков и красок, шум гонгов и голосов и теснота людская — в китайском поселке, и — единая — просторная — краска выжженной солнцем тишины и пустыни — в поселке монгольском. Пылится пыль и несет запахи азиатского города, прокислые, протухлые запахи. — И за околицей сразу распахнулась степь — беспредельная широта степи, пустыни, казалось, не тронутой человеком, никем нехоженной, первобытной, широкий плат степи, чуть вскачнутый холмами, чуть смятый балками, — плат степи, прожженной, испепеленной солнцем так же, как лица монгол, — широкий беспредельно, пока хватает глаз.

— Если господа англичане пожелают, мы можем по дороге заехать в монгольский монастырь, где господа англичане увидят монгольских лам! — говорит бой-переводчик.

Англичане решают заехать туда на обратном пути.

Мистер Смит толкует:

— Вы знаете, — говорит он, — каждого первенца монголы отдают в монахи, в ламы. Ламы околачиваются около своих монастырей, ничего не делая, существуя за счет подаяний. Ламы считаются полусвятыми, и к ламам монгольская мораль посылает всех монгольских женщин, с которыми ламы священно совокушаются. Было бы совершенно неплохо побыть месяца три ламою. —

Вдали, на холме, в степи видна красная, крашенная колода, около которой стаей лежат собаки.

— Что это такое? — спрашивает мистер Смит.

Переводчик неохотно отвечает, говорит, что это монгольское кладбище.

— А, я читал об этом! — восклицает мистер Смит. — Монголы выкидывают трупы в степь, и собаки подбегают их. Эти собаки считаются священными псами. Поедемте посмотреть.

Автомобили идут к колодам, — собаки неохотно отбегают от автомобиля. Около колоды лежит человеческий труп, труп почему-то без головы, труп раздет, труп изорван собаками. Мистер Смит усердно фотографирует и колоду и труп. Мистер Смит просит мистера Грэй увековечить его, мистера Смита, около трупа — фотографией.

И опять стремительной солидностью мчат автомобили по степи. Холодно. Автомобили идут в Дауру, в столицу хошуна Шин-Барги, в Кувот-улан. Солнце долотит землю, широко раскидывает горизонты, но в автомобиле холодно, монгольское солнце — для англичан — имеет небольшое и злое сердце: — надо потеснее закутаться в шубу, помолчать; — можно помолчать и подумать о тех тысячах километров, что легли вперед, направо, налево, — о тех тысячелетиях, что прошли по этой пустыне монголами, аджиками, татарами, гуннами, золотыми и

кровавыми эпохами, даже Александра Великого манивскими в эти пустыни, которые когда-то были властительнейшими в мире и теперь уничтожены злым солнцем пустыни. Однажды — за путь автомобилей — вдали в степи возник всадник и исчезнул сейчас же в балке, и из балки тогда поднялся серый столб дыма; и далеко впереди тогда, чуть заметный, второй появился столб дыма: — кто знает, быть может, в этой бестелеграфной степи эти дымы были телеграфами тысячелетий?

И через часы автомобили приходят в мертвую тишину степного хошуна. Должно быть, автомобили вступили сюда так же, как вступает чума, потому что в глиняной тесноте переулков, серых, как степь, умерла жизнь, ни человека, ни лошади, ни звука, — только на порогах лавок сидят безмолвные, невидящие купцы, поджав под себя ноги и остановив время неподвижностью. Выбитая тысячами конских и воловьих копыт и тысячами человеческих ног, прошедших здесь, скованная морозом земля улиц гудит под автомобилями, но улицы и глиняные дома не видят автомобилей, не хотят их видеть.

Автомобили идут к крепости, где живет гун. Вал из серого камня тяжелой стеной окружает крепость. Рвы, полные водою, ныне заледеневшей, окапывают крепость. Автомобили подъезжают к мосту, перекинутому к воротам через ров. Китайская стража англичан берет винтовки на караул. Обитые железом ворота — безмолвны, глухо закрыты. Переводчик, вместе с начальником дистанции, выходит из автомобиля первым, они идут к воротам с полудожинной английских визитных карточек. Англичане выходят из автомобиля.

И тут англичане видят — —

— — на столбе, на колу, направо от перил крепостного моста — на кол надета человеческая голова. Голова, должно быть, только сегодня или сегодня ночью отрублена,

потому что кровь еще не потемнела, еще не застеклась; лицо ужасно, с разинутым ртом! — лицо замученного человека.

Крепостные ворота уже открыты перед англичанами. — Лица англичан растеряны, мистер Смит стоит с открытым ртом, забыв о фотографическом аппарате.

— Господин Грэй, господин Грэй, — шепчет растерянно начальник дистанции, — я должен вам сказать — —

— Идемте, господа, — покойнее, чем следует, — говорит мистер Грэй. — Вы потом мне доложите, господин начальник! — —

Впереди мистера Грэя идет третий — философ бухгалтерии. Англичане идут мостом, под воротами, первым внутренним двором, вторым. — «Господин Грэй» — шепчет начальник дистанции. — «Вы потом мне доложите, господин начальник!» — кричит шепотом мистер Грэй. Англичане проходят второй двор, третьи ворота. Англичанам трудно видеть то, что вокруг них. Не случайно — в машинальности — руки англичан в карманах, там, где револьверы. И — неслучайно в этот миг лица англичан похожи на те маски, в которых разыгрывались когда-то мистерии, зажатые в наморднике английской выдержки. Англичане идут, окруженные толпою монголов: кислый запах — национальный запах — монголов уже обьял англичан. Англичане идут в масках. За третьими воротами стоит дом покоев гуна, где разостланы шкуры леопарда, на которых восседает гун. Англичане ничего не видят после глаз того, посаженного на кол: они не видят, что дом, где «восседает» гун, — такой, каких очень много в России, дом средней руки купца, под железною крышею, 12 на 24, с крылечком, где в галдарейку вставлены цветные стекла; они не видят, что небольшой дворик чистенько выметен, посыпан песочком, — что есть у дома завалинка, приспособленная для сиденья на ней. — Сту-

пеньки крылечка покрыты коврами. На вышитом золотом ковре стоит гун, в шапочке мандарина, с усами, свисшими тоненькими седыми шнурочками, в голубом — небесного цвета — юбкаподобном халате. Округ гуна стоит толпа его придворных, его военноподчиненных, советников, министров, баронов, графов, бейле, бейсе. Мистер Грэй хочет увидеть лицо гуна: оно сухо и выжжено, как камни пустыни, — и безвыразительно так же, как камень. Гун — безвыразительно, — не глядя на гостей, — нето от старости, нето по чину — кланяется песками своего лица, одними глазами, которые смотрят долгу и медленно закрываются. Англичане кланяются гуноу в пояс. Толпа придворных отвечает англичанам поясным поклоном. Гун протягивает руку мистеру Грэю («как узнал гун, что он, мистер Грэй, старейший среди англичан?!») — гун протягивает руку, чтобы мистер Грэй в благоговении ее пожал, — рука гуна бессильна. Англичанам трудно видеть, и они не видят, что рядом с гуном, в свите гуна стоит тот человек, что был вчера у англичан в поезде помощником повара; он наряжен сейчас в лиловый кафтан, и за поясом у него косая сабля; он выступает вперед, кланяется и говорит переводчику англичан, тому, кто был вчера у англичан лакеем:

— Передай собакам англичанам, — говорит сладостнейший монгол, вдвое складываясь в поклоне, — передай собакам, что повелитель Шин-Барги, восседающий на шкуре леопарда, просит англичан пожаловать в его покои на самовар.

Англичане не понимают, что говорит драгоман. Начальник дистанции смотрит на мистера Грэя умоляюще, — и вслед за ним, в толпе, идет в дом, в горницу, где на канах разостланы шкуры леопардов — —

... Можно было бы пойти по крепости, посмотреть замороженные века прошлого. Англичане не могут смо-

треть — перед ними глаза того, на колу. А можно думать о тех — или остатках, или зачатках государственности, феодальщины, — которые, как в молекуле, отражают все и всяческие качества всех и всяческих государственных; англичане прошли мимо первых ворот и заметили там только колья с человеческими головами, которые рубятся и вешаются судом и приказом гуна; гун живет за крепостными стенами, — не существенно, что эти стены развалятся от первого удара полевой пушки, — гун живет за охраной своей армии, — на конном дворе стоят скакуны гуна, — там его псарни и там холятся его соколы, те, с которыми он выезжает на соколиную потеху; во внутреннем дворе гуна есть подземелья тюрем, в подземельи есть закута, где пытают людей судом и приказом гуна, — и там, — случайно рядом с подземельем тюрьмы, — стоит печатный станок, украденный из России в дни русской революции, станок, на котором печатаются деньги и указы гуна; на третьем дворе — покои гуна, гарем, жены, дети; и на первом дворе, и на втором дворе, и в стенах крепости расположены казармы всадников гуна; за первыми воротами, на первом дворе, где налево казармы, направо расположились в доме, похожем на рабочие казармы и обмазанном глиною, — расположились правительственные учреждения гуна, его судебные, податные, финансовые приказы, и там хранятся толстые фолианты, написанные по-китайски кисточкой — фолианты, в коих писаны и история Шин-Барги, и гуна, и предания, и грамоты войны и мира с соседними племенами, и перечни данников, и перечни родов и знати, и перечни подданных, и что с кого, с какого улаину причитается гуну на суд, на войско, на правление, причитается деньгами, лошадьми, волами, трудовой повинностью... — здесь можно увидеть молекулу всяческих государственных! — но англичанам невозможно думать, в наморднике из нервов — —

В приемной гуна, где лежит множество шкур леопардов, топится голландская печь, очень обрусевшая за годы своих скитаний по России — от Голландии до Монголии — в потрескавшихся кафелях, очень уютных, раскрашенных зелеными овечками и пастухами, в изречениях на немецком языке. По стенам в горенке висит с дюжину стальных часов, из коих иные молчат, а иные тикают всеми головами и басами. По стенам развешены изречения великих людей Монголии и Китая. Гун восседает на леопарде. Англичане в толпе вельмож гуна стоят перед гуном. Слуги вносят стулья и круглый, почерневший от времени стол.

Мистер Грэй говорит через переводчика длинную речь, заготовленную еще задолго. Мистер Грэй говорит тихо. Вот начало этой речи:

— Великий гун, великий, восседающий на шкуре леопарда! Мы, правление новой дороги, приехали поклониться тебе и твоим вельможам, приехали привезти тебе подарки и дружески договориться с тобой о том, чтобы в дальнейшем мы жили в дружбе и мире под твоим руководством и по твоим советам. Дело в том, что наша дорога упирается в твои владения, проходит по твоей земле, и мы — —

Лицо гуна — как выжженный солнцем камень. Гун сидит с опущенными глазами, глаза гуна прикрыты желтыми веками, невидны. Гун неподвижен, непроницаем. — Слуги на круглом столе расставляют круглые китайские чашечки и мисочки, раскладывают китайские палочки, которыми едят, — против тех мест, где сядут англичане, кладут вилки, никогда не мытые и не чищенные. — Когда переводчик заканчивает перевод речи мистера Грэя, гун встает с леопарда, гун идет к иероглифам изречения, написанного на стене, долго смотрит безликими глазами на это изречение и говорит:



— Этот манускрипт мне подарил китайский император Пу-И, ныне живущий уже без престола, отрешившийся от престола, когда ему было три года. Император Пу-И написал мне: — «Я слышал, как поют птицы, — голоса птиц везде одинаковы: — почему же люди говорят разными голосами и разными словами?»—

Гун идет занять свое место у круглого стола. Одна единственная стоит на столе бутылка коньяка, не настоящего, подделка из Фудидяна. Гости и гун садятся за стол по-европейски, на стулья и на табуреты. И на стол несут бесконечный черед китайских кушаний — трепанги, гнилые яйца, прогнившие до того, что они стали зелеными и прозрачными, свиные выкидыши в бобовом масле — и еще десятки таких же, несъедобных для европейца, блюд. Англичанин через переводчика сообщает гуна, что, кроме шкур леопарда, он делает ему подарок английским скакуном, белой масти, — гун, в знак того, что он слышит, медленно мигает глазами, — руки у гуна медленны, сухи, узки, и пальцы — в той красоте, которая у европейцев считается аристократической, — необыкновенно длинные.

Но китайские кушанья — только начало обеда. Англичане теряются в тех чашечках и мисочках, что стоят перед ними, — и из каждой мисочки трепангами, лягушками, бобовым маслом — глядят на англичан глаза отрубленной головы. — Слуги приносят самовар, прародитель русского — медный, позеленевший, он шипит и кипит, — совком в него кладут угли. И на деревянных лотках слуги приносят тончайшие нарезанные ломти конины, говядины, куски мяса гусей, кур, дроф, дикого кабана, дикой серны. И гун собственноручно кладет мясо в кипяток самовара. Гун сыпет туда соль. Гун сыпет туда перец, имбирь, лук, чеснок. Гун льет туда бобовое масло. Все это кипит в самоваре. И тогда гун кладет мясо из самовара на стол перед

каждым гостем, собственноручно, чтобы гости ели мясо — уже по-монгольски — руками. Глаза гуна немигающи. Часы на стенах бьют вразнобой, басами, кукушкой, пищат, хрипят. Гун говорит через переводчика, что он дарит мистеру Грэйу лучшего своего белого скакуна. Мистер Грэй просит гуна пожаловать к нему в поезд завтра на обед. Гун медленно мигает в знак того, что он слышит. Мистер Грэй — через намордники, издали — через переводчика интересуется банком гуна и его валютой и предлагает вступить пайщиком в банк гуна. Гун — не мигает — в знак того, что не слышит.

Тогда мистер Грэй под столом получает записку от начальника дистанции. Начальник пишет карандашом: — «Ваше превосходительство, господин Стивен Грэй, — я нахожу необходимым потревожить вас. Та голова, посаженная на кол — моего агента, который исчез сегодня ночью». — Мистер Грэй окидывает взглядом своих спутников, — они бледны, они давятся кониной. И первым движением мистера Грэя было встать, побежать. Но — он сидит в наморднике. Он уже ничего не видит. Он покорно берет конину руками. Потом он пьет монгольский чай, который варится с солью, с пшеном и с бараньим салом. Он покорно рассматривает старинное оружие гуна, сабли, копья, луки, — рассматривает лук и стрелы, оставшиеся, по преданью от Тимура, одним из потомков которого считает себя гун. Гун сидит неподвижно, немигающие его глаза смотрят пустыней. Гун ничего не ест, — но вельможи гуна ловко цапают руками горячее мясо и ловко его засовывают в рот, сгибаясь над столами, по-рыгивая, облизывая пальцы. Англичане едят поспешно, не глядя, что едят. Англичане уже ничего не говорят. Гун заводит граммофон с китайскими пластинками, которые на ухо европейца кажутся вырождением музыки. Часы кукуют, бьют.

Тогда на подносах из меди слуги разносят англичанам визитные карточки гуна и его графов и баронов: визитные карточки монголов вчетверо больше нормальных, они исписаны иероглифами. Тогда — чин обеда закончен, и англичане могут идти.

Англичане идут к выходу поспешно, опустив головы, поспешно простившись. Гун и его свита провожают англичан до ворот. Англичане не видят, как их охрана берет на-караул. — Англичане садятся в автомобили. Когда пустая улица поселка осталась позади и кругом широким пологом распахнулась степь, мистер Грэй останавливает автомобиль, выходит из него. Мистер Грэй всовывает два пальца в рот и тошнится, — затем из термоса он пьет ка-сторку, разведенную черным кофе, — лицо мистера Грэя бледно, глаза залиты слезами, —лицо его постарело лет на тридцать, указало, что он уже очень не молод. Тогда остальные англичане также слезают, чтобы тошниться. Переводчик-бой спокойно стоит у крыла автомобиля — он говорит покойно:

— Господа англичане желали на обратном пути захватить в монгольский монастырь посмотреть лам. Господа англичане прикажут свернуть туда?—

Мистер Грэй бессильно машет рукой, слабо смотрит, — «нет, нет, довольно, я уже видел. Я хочу домой, в вагон. Пожалуйста, скорее».

И автомобиль рвет пространство стремительной быстротой, без всякой солидности. Мороз перед закатом долотится уже не солнцем, а черствым холодом, — англичане сидят съезжившись, засунув носы в воротники, засунув руки глубже в карманы...

... В голой степи, за невысокими рвами расположились храмы монгольского монастыря. Горбун-лама, изъеденный оспой и сифилисом, стынет у ворот. В первом храме; направо и налево от алтаря, сидит по паре чрезвычайно

страшных, нечеловекоподобных и все же человекообразных, вырубленных из дерева в два человеческих роста — богов; у богов торчат наружу языки и зубы; глаза их выкатились в свирепости из орбит и раскрашены кровью; брови их ужасны; на лбах у них рога; в руках у них огромные мечи и дубины; под ногами у них, в корчах страданий, человеческие фигурки — это чортоподобные боги охраняют алтарь от злых духов и злых людей, отгоняя, устрашая их страхом ужасных своих рож. — Горбун-лама стынет у ворот; затем он идет в храм и бьет там в гонг, чтобы боги услышали его молитву и то, что он стережет усердно...

...Автомобили англичан стремятся к поезду...

Вечером англичане сидят в обсервешэн-кар — устало, в пижамах после ванны. В обсервешэн-кар очень натоплено, чтобы англичане могли отогреться после морозов дня. Вокруг обсервешэн-кар стоит усиленный наряд китайской охраны. — Англичане молчат.

— Ну, что, как ваши проекты? — говорит устало мистер Грэй третьему, философу бухгалтерии! — наш бой-переводчик тоже сбежал? его тоже посадят на кол, как вы думаете? — или он просто агент монголов? — ведь начальник дистанции говорил, что переводчики не называли нас иначе, как собаками-англичанами — начальник дистанции, к несчастью, знает несколько слов по-монгольски! — Как ваши проекты?—

Третий, философ бухгалтерии, отвечает злобно. Лицо третьего теперь никак не заспано, выправилося, не стало походить на его хаки, и очки сидят твердо.

— Что же, — говорит он, — у нас есть и иные средства, должно быть, более портативные для дикарей. По-смотрим, что покажет завтрашний обед у нас, — я поговорю здесь с монголом чистосердечно, без шуток

с отрубленными головами. А что касается того, что мы собаки...

— Тем не менее, — перебивает философа от бухгалтерии мистер Грэй, — собаки пока съели в степи нашего агента, который, кажется, был достаточно куплен нами.

— ...А что касается того, что мы собаки, — говорит философ от бухгалтерии, — то нам из их морали шуб не шить. — Населения здесь столько-то, — посмотрите цифру в моей записке, скота столько-то, — площадь земли. — Расчет ясен. Если мы бросим сюда десять тысяч фунтов стерлингов — —

...но тут происходит невнятное, такое, что поняли англичане только тогда, когда поезд стремительно, забыв о сигналах и стрелках, мчал за Хинган — в ненужной, конечно, и в истерической поспешности — —

За вагоном тогда зашумела толпа. Дежурный пришел в обсервешэн-кар и доложил, что монголы привели коня, подаренного гуном мистеру Грэю, и хотят его передать лично мистеру Грэю. Мистер Грэй вышел на площадку, спустился на перрон. На перроне толпились всадники: лошади, в золотом и серебром расшитых чепраках, храпели перед поездом. Старик, вельможа гуна, сидел на лошади, точно родился вместе с лошадыю. Лицо старика было таким же, как лицо гуна, — как выгоревшие камни пустыни. И дикий степной конь его, — им надо было любоваться, — был, должно быть, одним из лучших коней, живущих ныне на земном шаре. Старик слез с коня, — и слуга повел коня к мистеру Грэю, слуга поклонился мистеру Грэю и передал ему поводья лошади, склонившись в пояс перед мистером Грэем. Мистер Грэй заговорил по-английски о том, что он благодарит гуна, но мистер Грэй не договорил, потому что рядом грянул выстрел. Пуля, должно быть, прошла прямо в мозг лошади,

повода от которой были в руках мистера Грэя, — потому что лошадь не успела даже стать на дыбы, сразу пала на землю, окруженная всадниками, взлетевшими вверх на дыбах своих коней.

Больше выстрелов не было, через момент не стало на перроне людей ни монголов, ни китайской охраны, — и лежала только мертвая — прекрасная, белая лошадь. Мистер Грэй слабо отдал приказ готовить поезд к отходу. Лошадь лежала на перроне. На перроне не было ни души. И тогда из-за станционной избы выбежал в нечеловеческой стремительности человек, — он бежал в обсервешэн-кар, он споткнулся о белую лошадь, вскочил и прыгнул в обсервешэн-кар. В обсервешэн-кар вбежал начальник дистанции. Начальник дистанции, инженер, вылезшими из орбит глазами осмотрел англичан и прошептал: — «скорее, скорее, — я вырвался из рук монгол, выбросился из окна, — там остались мои дети и жена, — скорее, скорее, идемте, — помогите!» — В этот миг поезд тронулся, скрежетнула стальными блиндажей. Одинокая пуля в этот миг ударила в окно обсервешэн-кар, разбила стекло, пропела. Англичане повалились на пол, прижались к ковру. Третий, философ от бухгалтерии, крикнул визгливо:

— Полный, полный ход! Вперед, все пары, эй, кто там, скорее!

Над англичанами стоял начальник дистанции, русский с лицом якута, — человек шептал:

— Скорее, скорее, — там остались женщина и дети, идемте! — —

— Полный, все пары вперед! — завизжал, завыл в свирепой злости, рожденной трусостью, философ бухгалтерии — и замолк, прижавшись к ковру, спрятав голову.

...Степь в ночи — черна, беспредельна, луна над степью идет мертвецом, там в высотах та луна, которая, на глаз европейца, предугадывается философией бытия Азии. европейцу степь — пустыня, монголу степь — родина. Тогда, той ночью, когда монгол Ада-Бекир оставил на Хингане поезд, всю ночь мчал на коне Ада-Бекир.

За горами была степь стремительных гонок, — были широкий простор степи, ушедшей во мрак, лыдышка луны в небесах, сигналы звезд, — были — храп коня, запах пота коня, ветер стремления, повод в руках — видна была опущенная голова коня, прижатые уши коня, грива коня, летящая по ветру, — а в человеке на коне были: — огромное сердце и ветер. — И сердце и мысли сквозь мрак ночи — сквозь тысячи километров степи — видели — и дни Тамерлана, дни свобод и величия Монголии, и дни беспредельного будущего, и дни крови, и дни горечи и дни радости, — видели степь, полыхающую кострами восстания, слышали топот всадников во мраке, скрип повозок — и чуяли, чуяли кровь братства, смерти за братство, за верность, за долг, за свободу, чуяли радость и мужество братства, связанные свободой и кровью.

Кони мчали до хрипоты: тогда всадники меняли коней и мчали дальше, в огромном сердце, где виделись стоны, вопли, плачи и крики — крики радостей, побед, крики скрипов обозов, и конского топота, и гика толпы... В тот час, когда над степью едва-едва стало светлеть небо и рассыпались звезды, когда в степи стало еще темнее, как всегда за час до рассвета, — всадники примчали в степной умет. Там в балке стояло несколько глиняных изб, где жили оседлые монголы, — а вокруг изб расставились юрты — прикочевавших сюда из степи. В этом умете никто не спал этой ночью, но огней в умете не было.

Собаки задолго до того, как стали слышны шумы умета, воем своим рассказали о нем. Всадники встретили путников, далеко выехав навстречу в степь. И топот коней заглушил тогда сердце и мысли — подлинным топотом восстания, подлинным гимом восставших. Люди собрались в глиняной избе. В избе было очень тесно, люди сидели на канах, стояли на полу, стояли у дверей наруже. В избе было очень молчаливо и тихо, как и должно быть, когда говорить, в сущности, не о чем.

И разговоры — коротки.

— Теперь или — никогда — —

— Сейчас же все на коней — и в степь, по улайнам, хошунам, аулам, уметам, — вся степь на коней — —

...В глиняной степной избе — тихо, не многословно, молчаливо — —

Солнце еще не встает над степью, еще лиловая ночь. Безмолвствует крепость гуна. У ворот крепости спят часовые. Тогда к воротам подъезжают всадники. У ворот шепчут люди, — «ты — монгол, и ты — предатель?» — и на колу у ворот возникает человеческая голова — на колу. — «Труп — собакам, на дорогу, где поедут англичане, — пусть смотрят англичане». — И еще подъезжают всадники. Ворота крепости уже отперты. Всадники едут в крепость. Гун ожидает в своих покоях, там, где разостланы шкуры леопарда. Гун совсем не похож на выжженные солнцем камни пустыни. Гун стоит прямо и смотрит орлино — на этих, вошедших, восставших.

— Садитесь, — говорит гун, — и садится сам, совсем не на леопарды шкуры, а по-просту на землю пола, подобрав под себя ноги. Люди садятся вокруг него так же на полу, так же подобрав под себя ноги, опустив руки.

— Закурим, — говорит гун, — и закуривает длинную тонкую трубку, старенькую, выложенную серебром, не

спеша. Люди также закуривают. Слуга приносит и ставит посреди круга, образованного людьми, глиняный чан с горящими углями.

— А англичане? — спрашивает гун.

— Ты — старый, гун, ты — умный и хитрый. Было время, когда ты с китайцами правил против нас. Ты знаешь, — на колу около твоей крепости уже сидит голова предателя, — это мы говорим тебе.

— Хорошо, — говорит гун. — Но у англичан есть пушки.

— Да, — отвечают гуну. — Но у нас есть право и степь. У нас есть священный обычай гостеприимства. Ты встретишь англичан и примешь их. А они поймут, что значит человеческая голова на колу. Наш выбор не велик. Ты сказал об англичанах в Китае.

— Хорошо — говорит гун. — Ты Ада-Бекир, — ты поднял восстание? Ты приехал с англичанами, — ты и примешь англичан, — ты и проводишь их. А сейчас я хочу спать. И вы ложитесь спать.

...Конь храпит под всадником. Ночь. Скоро будет рассвет. Всадник сросся с конем. В ночи и во мраке, в степи — через мрак и степь — всадник видит шумы восстания, скрип повозок, крики и топоты всадников... Над степью в огромных даях горят костры вех, дымят вежи, отдаленные слышатся вои собак — и — безмолвная тишина в степи, извечная. Конь храпит под всадником.

Огромное солнце поднимается над степью. Все члены всадника онемели от непрерывной скачки, храпит конь. Солнце поднимается красное, круглое, громадное, — и всаднику понятно, что для него, для монгола, — у этого монгольского солнца — большое и доброе сердце.

— — в этот час в китайском городе на бобовом заводе — бамбуковыми палками надсмотрщики будят на работу — китайцев, спавших на бобовых матах... В храме, кинув тунзэр в ящик чортообразному богу, молеельщики дубасят в гонг, чтобы чортоподобный бог услышал их молитву. Над муравейником улицы еще не возникли шумы дня и из переулков течет удушливый запах опиума.

Т о к и о.  
Тансумачи  
май 1926.

---

ЖЕНИХ ВО ПОЛУНОЧИ

---

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

**Н**АКАНУНЕ Троицына дня, тринадцатого мая, из порта Портсмут вышло английское судно «Франсис». Судно шло в Капштадт, в Африку. По пути оно должно было зайти в Нигерию, в английскую колонию, оставить и принять там грузы. И в Нигерию, в город Рида плыл на «Франсис» мистер Самуэль Гарнэт, клэрк Нигерской английской каучуковой компании.

Океан встретил спокойствием, безмолвием и прохладой. Судно не было пассажирским, и на нем плыли только те, кто был связан знакомствами. В полдень, перед ленчем, капитан приходил в курительную комнату на спардеке и сам раскупоривал первую бутылку виски. Было все очень благополучно. После ленча кают-компания выносила лонг-шевы на капитанский мостик и, допивая виски, подремывая, следила за чайками, за дельфинами и синевою волн. За все эти дни качки не было ни разу, океан покоивался.

Мистер Самуэль Гарнэт женился за две недели до своей экспедиции, и молодая его жена, миссис Самуэль Гарнэт, ехала с ним. Мистер Гарнэт блаженствовал.

Он не был особенно образован, он был совсем не богат, но он знал все, что полагается знать джентльмену: от Библии до того, какой галстух надеть к таким-то носкам, как в каком случае сказать и сострить, как держать себя

с людьми. Он ехал в Африку на несколько лет; он хорошо знал систему переписки с правлением Компании, качества разных сортов каучука, — об Африке же он знал мало, был знаком с ней по Бедэкеру. Он был молод; сидя на спардэке, наблюдая море (которое можно наблюдать бесконечными часами), в лености и отдыхе, он перебирал в памяти, сколько носков и чулок у него и у его жены, как он простился с директором Компании, как он оставил в Лондоне текущий счет, куда просил ежемесячно вносить его командировочные, и сколько будет у него средств ко дню его возвращения в метрополию. На голове он носил пробковый шлем, на шее у него висели кодак и цейсе, на ногах были белые бриджи.

Его жена, миссис Самуэль Гарнэт, была менее жизнеспособна, чем он, но она лучше его знала, в каком чемодане и как положены их вещи, белье, сервиз, теннисные ракетки; у него, кроме книг по специальности (бухгалтерия и каучуковедение), был только один Бедэкер: он знал, что всюду, где бы он ни был, его догонят любимые его газеты — «Пэлл-Мэлл», «Морнинг» и «Ивнинг Стэндэрт»; но у нее были книги: Шэлли, Гэлсворси, несколько книг, вышедших на этих неделях, несколько модных «мэгэзинов» и толстая кожаная тетрадь с надписью — «Дневник и стихотворения миссис Самуэль Гарнэт»; у нее с собою было много почтовой бумаги и конвертов.

И она чаще сидела в каюте, роясь в вещах; не только потому, что она знала, что, когда мужчины сидят в курительной комнате, женщине неудобно туда идти, ибо они там ведут свободные мужские разговоры; иногда вечерами она шла на ют и смотрела на лаг, за корму корабля, назад, где страусовыми перьями клубилась вода и горели фосфорически во мраке медузы; мистер Гарнэт не знал об одной книге, о маленькой книге стихов неизвестного поэта с малозначащей надписью на первой белой стра-

нице; эта книга была положена в кэз, недоступный для взоров мужчины, ибо он был полон тайнами женского туалета. Впрочем, многие вещи для этого кэза мистер Самуэль покупал сам. Впрочем, миссис Самуэль Гарнэт никак нельзя было считать в какой-либо, даже малейшей степени, деморализованной: кто осудит женщину, которая две недели тому назад была девушкой, в маленьком тще-славии и в маленьких, не умерших еще глупостях! —

Супруги Гарнэт любили друг друга, и в десять часов они уходили в каюту с тем, чтобы через двадцать пять минут обоим пройти — обоим в пижамах и купальных халатах — в ванную комнату.

На пятый день моря мистер Самуэль тщательно проверил поданный ему счет, сверил его со своим блок-нотом, — и в полдни на горизонте очертилась лиловая полоса земли. В три часа судно стало на рейде Акасса, в дельте Нигера.

Еще из Лондона было дано радио. К судну подошел инспекционный катер. Мистера Самуэля Гарнэт встретил проводник. По воде около судна мельтешили в высоконосых лодках голые негры, — главным образом, мальчишки.

Проводник мистера Самуэля называл «сэром», а миссис — «лэди».

Сэр Самуэль Гарнэт был покоен, деловит и ничему не удивлялся так же, как если бы он сходил с парусной лодки в Брайтоне, после пикника; но лэди Самуэль, удивленно смотрела на чернокожих, на зеленую воду, на необыкновенные деревья на берегу, на лианы, пальмы и на другие деревья, которых она никогда не видела и не знала, как назвать.

Катер взял их и их чемоданы.

На европейской коляске, к которой очень странно был приделан зонтик, их повезли на пароходную пристань.



Мистер Самуэль говорил с важностью министра, ему не было даже жарко, но миссис Самуэль скоро сказала, что от жары у нее мутится голова, запыльхивает сердце; мистер успокоил ее, что на пристани они съедят чего-нибудь холодного — «айс-крим-сода». Они проезжали мимо соломенной деревни, безмолвной в этот час жары, где негры, наперекор европейским стихиям, жили так же, как они жили испокон века, — голые, с ручными мельницами и, очень возможно, с луками.

На нигерском пароходе было опять европейски комфортабельно, негры были в белых костюмах и говорили по-английски. А за пароходом тянулись необыкновенные леса, изредка лесные разработки, изредка соломенные негритянские деревни. Миссис Самуэль стояла на палубе и хотела повидать крокодила: ей сообщили, что хотя крокодилов здесь и очень много, но все же их здесь труднее видеть, чем в зоологическом саду.

Через день чета Гарнэтов была на месте цели своего вояжа. Компания отвела мистеру Гарнэту небольшой котэджик, трехэтажный, меблированный (даже был небольшой винный погребок); при домике был выезд о двух лошадях, четыре негра, — две женщины и два мужчины. Дом стоял на берегу реки, на поляне, на опушке леса, неподалеку от разработок. Миссис и мистер Гарнэты первые дни носили с собой браунинги, боясь нападения тигров; но им объяснили, что тигры в этих местах не нападают на людей, и они повесили револьверы у своих изголовий.

Ночами в лесу (мистер Гарнэт обязательно говорил — не просто лес, а тропические леса) кричали незнакомые звери, выли гиены: тогда миссис перебежала со своей постели в постель мужа. Днем муж уезжал в контору, она одна писала дневник...

Имя его, этого инженерного солдата, в отличие от миллионов его братьев и сестер, — Он; в отличие от братьев и сестер потому, что и у сестер, и у братьев пол стерт, — и Он, — потому, что никогда не узнается, есть, была ли у него, у этого инженерного солдата, индивидуальность, особливость, отличающая его от его братьев.

В подземельи, за лабиринтами подземных ходов, зал, кладовых, стойл, спален, складов, выложенных пометом его и его братьев и сестер, где миллионами шли рабочие и на перекрестках стояли часовые-солдаты, солдаты-полисмены, — там была комната Матери.

Если бы он когда-либо видел европейский средневековый замок, он мог бы сравнить быт камеры Матери с бытом этих замков: но он не мог мыслить, и он никогда не узнал о европейских средневековых замках. Подземелье Матери было огромно, со сводчатыми потолками, с десятком потайных и открытых ходов в него. Там, у входов в комнату, стояли крепостные солдаты, шеренгой, жвалами наружу, опустив головы. Тысячи рабочих работало около Матери и сотни полисменов подгоняли их. Мать, чудовище, лежала посреди зала, столь толстая, что спина ее касалась потолка, неподвижная, слепая, зеленовато-белотелая, сырая, потная. Рабочие, пигмеи рядом с ней, чистили, скребли, облизывали ее, ползали по ней и вокруг нее, пили ее пот. К ее рту шеренги рабочих тащили со складов пищу и совали ей в рот. От времени до времени солдаты бежали убрать ее помет и привести ее в порядок. Каждую секунду судорожилась Мать, от головы по животу шла волна натуги — и возникало каждую секунду яйцо; тогда бежал рабочий, мыл яйцо и нес его на склады.

Так — ежесекундно — Мать выкидывает ребенка, — так жила Мать днями, неделями, месяцами, годами, слепая, не имеющая сил двинуться, страшно жирная, истекающая потом, который едят рабочие.

Так рабочие таскают яйца и полисмены-надзиратели подгоняют их — в совершенном мраке, в подземельях, по лабиринтам, построенным из помета инженерных солдат и рабочих.

Рядом с Матерью, сбоку стоял Отец, также слепой, также с обломанными жвалами, — также его облизывали и кормили рабочие, но он мог двигаться и бить солдат и рабочих, подгоняя их к труду.

Там, в камерах, где сложены яйца, из этих яиц потом возникнут миллионы братьев и сестер, солдат и рабочих, которые, родившись, потеряют пол, сравниваются, чтобы трудиться, строить лабиринты, кормиться, защищаться, нападать, ходить походами, повиноваться, умирать, убивать, — никогда не думать, только повиноваться: — и только сотням на миллионы выпадет счастье быть крылатыми, летающими нимфами.

Там, над замком этого государства, днями ходит дневное светило, то, которого никогда не видят Он и его братья, — ночами там светит ночное светило, то, которое есть его спутник, — там идут стихии, дивни, грозы, засухи, жары — там мир врагов.

В центре города — огромный, сводчатый, готический пустырь, с четырьмя арками и множеством колонн, вокруг него грибные сады, детские сады, магазины с пищей, рабочие бараки. В грибных садах, где нечем в духоте дышать, необыкновенные, фантастические растут растения, серые, шарообразные, пахучие: шары разных величин, шары, шарицы, шарики, эллипсы, картофелины шаров, — по земле меж шаров тянутся корни, на которых держатся эти шары; они осклизлы, как и шары, меж шаров

и по шарам ходят садовники и молодежь. — За садами в подземельях зарыты, сокрыты склады сладостей, янтари смол и соков сахара, клея, варенья, — там у входов стоит стража. —

Там, за большими дорогами, в стенах, в башнях, в бойницах торчат головы броне-солдат, стражи, гарнизона — стерегут чужой мир, всегда готовые вступить в бой, убивать своими жвалами и умирать.

В стороне от больших дорог и переулков — на бойнях, — солдаты убивают рабов, стариков-рабочих, стариков-солдат, калек, и туда идут солдаты, чтобы есть убитых и уносить запасы на склады. Там в тюрьмах сидят рабы, стафилины, которых ловят и хранят, и кормят из-за их пота, действующего, как наркоз, как алкоголь: рабы закармливаются, они неподвижны, — их перетаскивают с места на место, когда им надо родить, их трупы уносятся на бойни, когда они умирают, — их пот хранится на складах, — их кормят пометом. Там, на миру, за городом, за крепостями — поймана дойная скотина, червецы: стада их пасутся в загонах, в крепости, охраняются, кормятся, доятся, пасутся: они умирают, — но новых и новых несут из мира, с полей, из-за города.

В городе, в крепости грандиозные идут строительства.

Минеры, каменщики, инженерные солдаты воздвигают новые и новые постройки; рабочие, миллионы, идут вниз в подземелья, едят землю, грызут землю и идут вверх, к стройкам, — там рядами стоит стража, — там командуют инженерные солдаты; там рабочие кладут принесенную землю; извергают землю из своих желудков и мочат ее своим пометом, — а инженерные солдаты разминают землю и помет, вновь пережевывают ее и возводят новые и новые стены, башни, пещеры, склады; минеры рвут старое; тогда рабочие, сотни сразу, тащат камни прежних циклопических построек.

В подземельях рабочие несут запасы с полей и из колоний. Там, в подземельях, собираются миллионы рабочих и солдат — для новых походов, завоеваний, войн, грабежей.

Там, в подземельях, в переулках, на дорогах — прокислый, сырой, нехороший воздух: другого они не знают, и если они идут в поход (миллионноголовым, им много надо есть), впереди них идут минеры; минеры роют земли, прорывают подземные ходы, строят галлереи, — строят по дороге склады, бараки, — минеры работают ночами, когда их не видно, работают поспешно, ловко, быстро, упорно; и только тогда, когда дороги готовы, когда приготовлены биваки и склады фуража и амбары для добычи, тогда выступают армии, миллионы рабочих и солдат; они идут стройными колоннами, а минеры идут вперед и вперед, — если им встречаются преграды, они изнутри выкают в них и долбят их изнутри, пока те не рассыпаются в порошок; они идут невидимые, во мраке, бесшумно, миллионами (тем страшнее они!). — Но иногда рушатся их ходы, — тогда они идут на свет колоннами армий, солдаты впереди, тесно друг к другу, миллионы сразу, — тогда они шипят, грозятся, злобствуют, сторожевые солдаты захватывают все возвышенности, сигнализируют, — колонны строятся армиями, командиры вперед: если нарушил их путь враг, они не отступают перед врагом, — они идут умирать, и всякий враг, даже белый человек, бежит перед ними.

Об этом мощном государстве нельзя сказать, что оно есть империя: императорская власть — власть Матери и Отца — неподвижна, бессильна, подчинена, как бессильна, подчинена власть и жизнь каждого жителя этого государства, который не знает смерти и идет умирать за всех, идет умирать на корм своим же сестрам и рабам, ибо рабов кормят мясом хозяев. Это государство никогда не

видит света, государство — машина, государство без индивидуальности, без собственности, без инстинктов.

Он, инженерный солдат, сделал много походов, много проложил траншей и галлерей и биваков для армий, для походов на грабежи, для походов в войны.

Это были дни, когда однажды — однажды! — государство безумствовало, — государство, где не было, не могло быть глупости, — делало глупости: это было дни, когда улетали нимфы, единственная глупость, единственные лирика и романтика. Нимфы обладали полем и могли любить. Государство знало, что на завтра полет мужских нимф! — и на утро был полет девичьих нимф. Ночью Он и его братья прорывали, продавливали стены своих башен, чтобы однажды — однажды! — увидеть дневное светило.

И сначала в эти ворота пошли солдаты, чтобы умирать, драться, бороться с теми врагами, кои пришли убивать и подкарауливать нимф; государство не жалело для этого дня своих жизней, оно шло в солнце, — оно посылало жить и умирать.

И наутро, в солнце, в голубом благословенья дня, из подземелий к солнцу пошли серебряные, крылатые, видящие — видящие! — нимфы-девушки, те, которые, если не умрут, станут царицами новых государств.

Они шли темными лабиринтами, темными площадями, глухими закоулками — к свету, мимо рабочих, мимо солдат, — и там, наверху, на верхней башне замка они прощались с родичами, непохожие на них, прекрасные, крылатые, — они улетали к солнцу, в синеву, в день, в просторы, — чтобы там, в просторах встретить, найти, — свободно, случайно, — найти любовника: там, в голубых просторах, они были беззащитны, все в случайностях, — они летели или жить, или умирать, и солнце светило им, они летели серебряным дождем, там они найдут пару —

(Впрочем, потом, когда они найдут пару, парой они вроятся в землю, чтоб навсегда исчезнуть для света, — они потеряют глаза, они обломают себе крылья, они потеряют жвала, они разучатся самостоятельно есть, и Мать, разжирев, разучившись двигаться, будет только детородильной машиной, будет родить ежесекундно многие годы —)

А те, которые остались в старом государстве, и Он в том числе, когда улетели нимфы, когда солдаты вернулись обратно в подземелья (уцелевшие солдаты), — замуровали стены, зачинили их, чтобы вновь вернуться ко мраку, к труду, к работе: быть может, это Он последним ушел с холма в подземелье, последним взглянул в ту сторону, где умирало дневное, благословляющее светило и был мир, — последним ушел в неподвижность и удушье мрака.

Он многие сделал походы, и Он пошел в те дни в новый поход.

Он шел перед армиями, чтобы прокладывать пути для армий — подземелья, галлерей, склады, биваки. Его путь вел к непонятым древесным постройкам, пропахшим никак не теми запахами, которыми пахли тропические леса; Он вел подкопы под цементом, глубоко под землей, вникал в дерево, в толь — уступал перед железом, но сам выводил на нем цементные постройки бессветных лабиринтов; там, куда пришел Он, была прохлада и не было врагов; тогда за ним двинулись армии.

Он и его братья оны, инженерные солдаты, пошли назад, — но назад, до своего города, он не дошел; должно быть, он был уже стар: в одном из бивачных барачков к нему подошел десяток братьев, чтобы убить и съесть его, он понял это, он опустил голову и жвала, и ближайший солдат откусил ему голову; он стоял без головы; ему откусили брюхо; он стоял без головы и без брюха; он упал, когда стали есть ноги; это было потому, что дыхательные

и нервные аппараты у него были на груди, там, где были ноги.

Солдаты, съев его, пошли дальше, обратно к государству: вместо него стало много о н о в, было много о н о в.

Миллионнообратное государство жило сложнейшей турбиной, где миллионы сестер и братьев потеряли пол, индивидуальность, солнце. Миллионнообратное государство строило замки, крепости, дороги несравненной мощи.

В государстве не было случайностей, не могло быть глупостей.

И, когда пришли обратно оны, в городе творилась глупость: в царской пещере умерла Мать. Труп Матери был уже съеден рабочими. В государстве творилась глупость. В город возвращались все, — приходили с полей рабочие, приходили из походов солдаты, — армии становились в городе на улицах биваками, — весь город был переполнен. Труп Матери был уже съеден: там внизу оставался Отец, к Отцу привели нимф, сразу тридцать одну. Часть замка была уже захвачена в сумятице врагами, там шел бой: враги тащили себе в плен, в рабы, в пищу тех, кто остался без Матери. Тяжелые солдаты отдавали, умирая, все новые и новые подступы и крепости, — уже во многих углах хозяйствовало (и грабили, и разрушали) враги: там шел бой, там шла гибель.

И все же внизу, в подземельях, готовился страшный поход, невероятной дерзости, невероятной смелости, таковой, который должен принести или исчерпывающую победу, или — смерть; перед походом не жалелись запасы, вскрывались редчайшие склады, съедались запасы многолетних трудов, выпивался весь алкоголь — теми, кто шел в поход.

Это государство шло в поход на государство себе подобных, чтобы отнять у них Мать.

И вперед ушли минеры, инженерные солдаты и рабочие; план был отчаянен, план был хитер, план был колесален. Минеры, инженерные солдаты рыли подкопы, со всех сторон, в разных местах, там строились плацдармы, крепости, прикрытия для армий. По лабиринтам туда пошли армии. Армии были пьяны. Все творилось с колоссальной энергией и в абсолютной тишине.

И когда армии были готовы, когда все подходы были в порядке, все на местах, — тысяча бросила себя в смерть, тысяча тяжелых солдат: минеры взломали последние преграды, — и эта тысяча бросилась в город мирных жителей, в улицы, на склады, разрушая, убивая все на пути. За тысячей шли инженерные солдаты и рабочие, они заваливали пройденные пути, замуровывали отступление тысячи, ставили артиллерийских солдат. Тысяча шла вперед, грызла, травила ядами, удушливыми газами, разрушая, вбираясь в центр, в узкие переходы, — и на эту тысячу набросились десятки тысяч, сотни тысяч защищающих государство. В государстве все солдаты шли убивать эту тысячу, — тысяча исчезала, убиваемая, поедаемая.

И тогда, с другой стороны, в ряд взорванных пробоин ворвались в государство миллионы тех, кто послали тысячу, они шли колоннами, они занимали все пути, — они не грабили: они шли к сердцу города, туда, где была Мать, и только по этому пути они делали новые дороги и плацдармы, чтобы тут или победить, или помереть.

И жилье Матери было захвачено.

Солдаты у Матери были убиты.

Тысячи новых ее слуг потащили ее в проходы под землю.

Но им, этим она м, не дано мыслить: пока они брали новое государство, отвоевывали новую Мать, враги разорили их город, разграбили склады, развалили переходы,

увели стада, убили рабов, убили братьев, убили солдат, убили Отца, потоптали грибные сады, — там, в городе, построенном долгим, упорнейшим трудом, были мерзость запустения, срам, в развалины светило солнце, туда мог проникать чужой глаз потому, что в этот труд, в эту жизнь вмешалась случайность — глупость.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Год жизни в Нигерии, в Рида, ничему не научил мистера Самуэля Гарнэта. Он попрежнему полагал, что никаких загранич не существует и есть только Англия, и, как всегда, утром он ел поридж и бекон. Впрочем, он очень интересовался делами Компании, — и он никому не интересен, как неинтересны его разговоры о том, что к Троицын дню он выписал себе из метрополии то-то и то-то, — ботинки, костюм, седло, фотографические пленки.

У миссис Самуэль Гарнэт были иные знания. Она знала, что вскоре после Троицына дня у нее будет ребенок, — что в месяцы ее беременности Самуэль сошелся с негритянкой, — что вон то дерево, которое стоит за окном, называется баобаб. Днями она вышивала и шила для ребенка, — это в то время, когда был дома или ухорил, или должен был прийти муж (она давно уже связала ему семь галстухов на каждый день недели, и она подарит их ему на Троицын день), — но когда мужа не было дома и он не ожидался, она сидела над своим дневником. Там в дневнике она писала роман, где были: луна, Борнемус, поездки под луной на паруснике, рукопожатия, почти измена мужу — заветное кольцо и книжка, надписанная поэтом, тем, с которым она, героиня, была в Борнемус, с которым она изменила мужу рукопожатием. Там в дневнике было примирение с мужем, с действительностью, во

образе негритянки с плантаций, в разговорах мужа о том, какое платье он подарит ей через год к будущей Пасхе, и когда он позволит выписать из метрополии мать — маму миссис Гарнэт. На дневнике — случайно, конечно, — зачеркнуто было рассеянной, раздумчивой рукой «миссис Самуэль Гарнэт» — и было написано «миссис Эльза Дэддингтон» — ее христианское имя и девичья ее фамилия...

Должно быть от беременности у миссис Эльзы под глазами появились морщинки и глаза были медленны.

Мистер Гарнэт был уважаемым в колонии человеком, и на праздник Троицына дня чета Гарнэт была приглашена к президенту Компании, за несколько десятков миль, на несколько дней.

Мистер Гарнэт возвратился из поездки довольным и возбужденным. Он долго шутил на дворе с кучером-негром. Миссис прошла в дом. Вскоре он пригел к ней. Она стояла у окна, смотрела на баобаб.

— Миссис Эльза, — начал было весело говорить муж, сел на стул — и упал, потому что стул рассыпался под ним в порошок.

И сейчас же узналось, что за дни их отсутствия (лакей-негр, «мерзавец, поленился зайти в эти комнаты!») на их дом напали термиты, эти страшные вредители экваториальных стран. По полу опасно было ходить, он проваливался, рассыпался в труху, — по цементу и по железу были проложены их, термитов, галлерей, сотни ходов. Термиты были всюду.

Мистер Самуэль первый раз после детства, когда его порол отец, был взволнован: его письменный стол рассыпался в труху, и в труху рассыпалась пачка фунтов, его, им скопленных и казенных, в которых он должен был отчитаться, — и в труху рассыпалась чековая книга.

Лицо мистера Самуэля, загоревшее, доброкачественное, смокло в гнилое, одрябшее яблоко.

— Миссис Эльза, — сказал он, — ведь, быть может, они грызли уже и тогда, когда мы были здесь? Негр говорит, что они бесшумны и никогда не выходят на свет. Вы не видели их следов на цементе до нашего отъезда, этих их коридоров?

Миссис Эльза не ответила: она плакала, — в ее руках были только серебряные застёжки от ее дневника.

#### ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА

На туземном базаре, под пальмами негры продавали лакомство: ту массу, которая возникла из помета термитов, из которой была сделана крепость погибшего государства. Женщины выменивали ее на бананы, чтобы сварить ее и съесть.

Гаспра.  
Май 1925.

---

РАССКАЗ О ТОМ, КАК СОЗДАЮТСЯ  
РАССКАЗЫ

---

**В** Токио случайною встречей я встретил писателя Тагаки-сана. В одном из литературных японских домов меня познакомили с ним, чтобы больше мы никогда не встретились, — и там мы обменялись немногими словами, которые я забыл, запомнив лишь, что жена у него была — русская. Он был очень сибуй (сибуй — японский шик — оскоменная простота), — оскоменно просто было его кимоно, его гэта (те деревянные скамеечки, которые носят японцы вместо башмаков), в руках он держал соломенную шляпу, руки у него были прекрасны. Он говорил по-русски. Он был смугл, низкоросл, худощав и красив — так, как могут быть красивы японцы на глаз европейца. Мне сказали, что славу ему дал роман, где он описывает европейскую женщину.

Он выветрился бы из моей головы, как многие случайно встреченные, если бы — —

В японском городе К., в консульском архиве я наткнулся на бумаги Софьи Васильевны Гнедых-Тагаки, ходатайствовавшей о репатриации. Мой соотечественник, секретарь генерального консульства товарищ Джурба, повез меня на Майю-сан, в горы над городом К., в храм лисицы. Туда надо было сначала ехать автомобилем, затем элеватором, — и дальше надо было идти пешком тропинками и лесенками по скалам, на вершину горы, в чащи кедрового



леса, в тишину, где тоскливейше гудел буддийский колокол. Лиса — бог хитрости и предательства, — если дух лисы вселится в человека, род этого человека — проклят. Во мраке кедров, на площадке скалы, три стороны которой падали вниз обрывами, стоял монастырообразный храм, в алтарях которого покоились лисы. Там было очень тихо и оттуда широчайший открывался горизонт на цепи горных хребтов и на Великий океан, в бесконечности горизонта уходящий в ничто. — Все же неподалеку от храма, еще выше в горах, откуда видна и другая сторона горной цепи, мы нашли трактирчик с холодным элем. Под эль, под шум кедров и над океаном — очень не плохо могут беседовать два соотечественника. И тогда мне товарищ Джурба рассказал ту историю, ради которой я вспомнил писателя Тагаки и ради которой я пишу этот рассказ.

Тогда там, на Майю-сан я думал о том, — как с о з д а ю т с я р а с с к а з ы и о том, что очень трудно убить человека, но гораздо труднее пройти через смерть, так предугадала биология человека.

Да: как создаются рассказы? —

Вечером в тот день я вырл бумагу, где Софья Васильевна Тагаки-Гнедых изложила свою биографию со дня своего рождения, неправильно поняв правило о том, что репатрирующиеся должны дать автобиографическую справку. Биография этой женщины — для меня — начинается с того момента, когда корабль пришел в порт Цуруга, — биография необычная и короткая, выключившая ее из тысяч биографий провинциальных русских женщин, живописать которые следует по статистическому — номографическому — способу, выборочной описью, ибо схожи они, как два лукошка — лукошка первой любви, обид, радостей, мужа и ребенка для пользы отечества и очень немного прочего...

В моем рассказе есть он и она.

Во Владивостоке я был однажды, в последних числах августа, — и навсегда я запомню Владивосток городом в золотых днях, в просторном воздухе, в крепком ветре с моря, в синем море, в синем небе, в синих даях, — в чертовой той пустынности, которая напомнила мне Норвегию, ибо и там и тут земли обрываются в океан лысыми глыбами камней, одиночествующих одинокими соснами. Существенно говоря, это только прием — описаниями природы дополнять характеры героев. Она, Софья Васильевна Гнедых, Соня Гнедых, родилась и выросла во Владивостоке.

Я пытаюсь представить — —

она окончила гимназию, чтобы стать учительницей, пока не придет жених, — и была она такою девушкой, каких тысячи было в старой России. Пушкина она знала, должно быть, ровно столько, сколько требовалось по программе гимназии, и наверное она путала понятия слов — этика и эстетика, как и я однажды спутал их, шегольнув в сочинении о Пушкине, написанном в шестом классе реального. И, конечно, она и не знала, что Пушкин начинается как раз за программой гимназии, точно так же, как ни разу она не задумалась о том, что люди свой аршин пониманий считают нормой всему, когда все, что выше и ниже понимания, кажется человеку глуповатым или просто глупым, если сам этот глуповат. Чехова она прочла всего, потому что он был в приложении к Ниве у отца, — и Чехов знал, что эта девушка «прости, господи, глуповата». Но, коли на память пришел Пушкин, то эта девушка могла быть (и мне хочется, чтобы так и было), — могла быть — глуповатой, как поэзия, как и подобает осьмнадцатилетней. Она имела свои понятия: — красоты (очень красивы япон-

ские кимоно, как раз те, которых не носят японцы и которые производятся японцами для иностранцев), — справедливости (когда справедливо она перестала кланяться прапорщику Иванцову, разболтавшему об их свидании), — знаний (когда в чемодане знаний лежало убеждение, что Пушкин и Чехов — великие писатели, — во-первых, необыкновенные люди, — а, во-вторых, теперь перевелись, как мамонты, потому что теперь ничего необыкновенного не бывает, ибо пророков нет не только в отечестве, но и в своем времени)... Но, если писательские условности описаниями природы дополнять характеры героев могут жить на бумаге, — то пусть эта девушка, во имя глуповатой, прости, господи, поэзии, будет четка и прозрачна, как небо, море и камни дальне-восточного российского побережья.

Свою автобиографию Софья Васильевна исхитрилась написать так; что ни по консульской линии, ни по моей выудить оттуда многого невозможно, кроме недоумения (для меня, к слову сказать, не очень большого), — недоумения в том; как ухитрилась эта женщина пройти мимо всего, чем жили мы в эти годы. Как известно, японская императорская армия была на дальнем российском востоке в 1920 году за тем, чтобы оккупировать Дальний восток, — и известно, что изгнаны были японцы партизанами: ни словом об этом не упоминается в биографии.

Он — был офицером генерального штаба императорской оккупационной японской армии. Во Владивостоке он квартировал в том же доме, где снимала комнату и она: в Сибири употребляется вместо слова «квартировал» слово — «стоял», — они стояли в одной квартире.

Вот выписки из биографии —

«...его не называли иначе, как «макака»... Все очень удивлялись, что он два раза в день принимает ванну, носит шелковое белье и на ночь надевает пижаму... Потом

стали его уважать... Вечерами он всегда сидел дома и вслух читал русские книги, стихи и рассказы незнакомых мне современных поэтов, Брюсова и Бунина. Он хорошо говорил по-русски, только с одним недостатком: вместо л произносил р. Это и послужило поводом для знакомства: я стояла у двери, он читал стихи, а потом стал тихо петь:

Дышара ночь...

я не удержалась и рассмеялась, а он открыл дверь, так что я не успела пройти мимо, и сказал:

— Извините, невежливо приглашать мадемуазерь. Разрешите мне визитировать вас.

Я очень смутилась, ничего не поняла, сказала — «извиняюсь!» — и прошла к себе. А на другой день он пришел ко мне с визитом. Он подарил мне очень большую коробку шоколадных конфет и сказал:

— Я просиру разрешения визит. Пожаруйста шокораду. Какое ваше впечатление погода?..

Японский офицер оказался человеком с серьезными намерениями, совсем не то, что прапор Иванцов, который назначал свидания на темных углах и лез целоваться. Он приглашал в театр в первые ряды и не заманивал после театра в кафе. Софья Гнедых написала маме письмо об этих серьезных намерениях офицера, — в биографической же своей исповеди она подробно изложила, как однажды вечером, засидевшись у ней, офицер вдруг померк, лицо его полило кровью и глаза наполнились кровью, — он сейчас же вышел из комнаты, — она поняла, что в нем вспыхнула страсть, — а она долго плакала в подушку, ощущая, как физически страшен ей этот японец, расово чужой человек. «Но потом именно эти вспышки страсти, которую он умел так сдерживать, стали расплывать мое женское любопытство». Она его полюбила. — Предложение он сделал — по-тургеневски — в мундире, в белых перчатках, в празд-

ник утром, в присутствии квартирохозяев. Он отдавал свои руки и сердце по всем европейским правилам.

«Он сказал, что он через неделю едет в Японию и просит меня поехать вслед за ним, потому что скоро в город придут красные партизаны. По правилам японской армии офицеры не могут жениться на иностранках, а офицеры генерального штаба вообще не могут жениться до определенного срока. Поэтому он просил меня держать нашу помолвку в самой строгой тайне, а до того времени, пока он не выйдет в отставку, жить у его родителей в японской деревне. Он оставил полторы тысячи иен и поручительство, чтоб я могла проехать к его родителям. Я дала свое согласие...»

По всему дальневосточному российскому побережью ненавидели японцев, — японцы ловили большевиков и убивали их, иных сжигали в топках крейсеров, стоявших на рейде, иных расстреливали и сжигали в морге, построенном на одной из сопок, — партизаны все хитрости пускали, чтобы уничтожить японцев, — Колчак и Семенов умерли, — москвиты валились великою лавою, — ни строчкою об этом не обмолвилась Софья Васильевна.

### III

И именно с этих пор начинается самостоятельная своя биография Софьи Васильевны, с того дня, когда она ступила на землю Японского архипелага, — биография, утверждающая законы больших чисел статистическими исключениями.

Я не был в Цуруга, но знаю — что такое представляет собою японская полиция, полицейские, которых сами японцы называют — ину — собаками. Ингу действуют деморализующе, потому что они торопятся, неизменно говорят по-русски, опрос чинят, начиная с имени, отчества

и фамилии бабушки со стороны матери, объясняют — «японская полиция все хосит знать», — и клещами вытаскивают — «церь васего визита». Вещи японская полиция перетряхивает по способу си но би, японской науки сыска, — не менее суматошно, чем душу. Цуруга — уездный порт, где нету ни одного европейского дома и лишь одни шалапки домов японских, порт, пропахший, должно быть, каракатицей, которую потрошат, жмут (на предмет выработки туши) и сушат тут же в порту. Вместе с полицией в этой японской провинции все спуталось еще и тем, что тот жест, которым во Владивостоке говорят — «поди сюда», — в Цуруге значит — «уходи от меня», а лица цуружан ничего не выражают, по правилам японского обихода скрывать свои переживания — всеми способами, даже выражением глаз.

Софью Васильевну, должно быть, спрашивали — «церь васего визита», а имя и фамилию бабушки со стороны матери она могла забыть. Она пишет об этом коротко: «Меня стали допрашивать о цели моего приезда. Меня арестовали. Я целый день сидела в участке. Меня все время допрашивали, какие у меня отношения с Тагаки и почему он дал мне рекомендацию? — Я тогда созналась, что я его невеста, потому что полиция сказала, что, если я не сознаюсь, меня с этим же пароходом пошлют обратно. Как только я созналась, меня оставили в покое и мне принесли рису и две палочки, которыми я тогда еще не умела владеть».

В этот же вечер приехал в Цуруга Тагаки-сан, ее жених. Она видела его через окошко, он прошел к начальнику полиции. Его запросили об этой девушке. Он поступил мужественно, он сказал, — да, она его невеста. Ему предложили отправить ее обратно, — он отказался. Ему сказали, что он будет исключен из армии и сослан: он это знал. Тогда и его и ее отпустили. Он по-тургеневски поцеловал

ей руку, ни словом не упрекнул ее. Он посадил ее на поезд, сказав, что в Осака ее встретит его брат, а сам он «немного занят». Он скрылся во мраке, поезд ушел в черные горы, — чтобы оставить ее в жесточайшем одиночестве и крепчайше утвердить, что он, Тагаки, есть единственный во всем мире, любимый, верный, которому всем она обязана, исполненная благодарности, непонимающая. В вагоне было очень светло, все за окнами проваливалось во мрак. Все кругом было страшно и непонятно, когда японцы, ехавшие с нею в вагоне, мужчины и женщины, стали раздеваться перед сном, не стыдясь обнаженного тела, и когда через окна стали продавать на станции горячий чай в бутылочках и сосновые коробочки с ужином, с рисом, рыбой, редькой, с бумажной салфеточкой, зубочисткой и двумя палочками, которыми надо есть. Потом в вагоне потухнул свет, и люди заснули. Она не спала всю ночь в одиночестве, непонимании и страхе. Она ничего не понимала. В Осака она последняя вышла на перрон, и сейчас же перед ней стал человек в коричневом суконном, в крапинку, кимоно, на деревянных скамеечках, — и этот человек очень обидел ее, он защищал кланясь, поддерживая колени в поклоне, передал визитную карточку и не подал руки: она не знала, что он здоровается по японским правилам, она готова была броситься в объятия к родственнику, — он не подал даже руки. Она стояла, зардевшаяся в оскорблении. Он ни слова не говорил по-русски. Он коснулся ее плеча и показал на выход. Они пошли. Они сели в автомобиль. Город ее оглушил и ослепил, громадный город, после которого Владивосток стал казаться деревней. Они приехали в ресторан, где им подали английский брекфест; она не понимала, почему фрукты надо есть перед ветчиной и яйцами. Он неукоснительно, касаясь рукою ее плеча, указывал, что надо ей делать, не произнося ни звука, изредка улыбаясь. После брек-

феста он отвел ее в уборную и не отходил от нее: она не знала, что в Японии общие для мужчин и женщин уборные. В смущении, жестом она указала, чтобы он вышел, — он не понял и стал мочиться.

Затем они сели в новый поезд, он купил ей «бенто» (завтрак в сосновой коробочке), кофе — и он вставил в ее руки первый раз в жизни палочки, чтобы она ела.

В сумерки они сошли с поезда. За вокзалом он посадил ее на рикшу, кровь залила ее щеки от того нестерпимого, что переживает каждый европеец, впервые садящийся на рикшу, — по своей воли у нее уже не было. Сначала тесным городом, затем тропинками и кедровыми аллеями, мимо домиков, скрывшихся в цветах и зелени, рикши повезли их под гору, к морю, залегшему в скалах. Под отвесным сбвалом, на площадке над морем, около бухты, в зелени деревьев стоял домик, около которого они остановились. Из домика вышли — старик и старуха, дети и молодая женщина, все в кимоно — все поклонились в пояс, не подавая руки. Ее не пустили сразу в дом; брат жениха, который встречал ее, показывал ей на ее ноги, — она не понимала; — тогда он посадил ее на приступочку, почти насильно, и расшнуровал ее башмаки. На пороге дома женщины пали перед ней на колени, прося ее войти. Весь дом казался игрушечным, в дальней комнате раздвинута была стена, широчайший открывался вид на море, на небо, на скалы, срывающиеся в море, — домик этою стороною подходил к обрыву. На полу в комнате стояло множество мисочек на подносиках, и против каждого подносика лежала подушка. Все, и она, сели на эти подушки перед подносиками, на полу, чтобы поужинать.

...Через день приехал Тагаки-сан, жених. В дом он вошел в кимоно, и она его не узнала, этого человека, который поклонился в ноги сначала отцу и брату, потом

матери и только тогда ей. Она готова была броситься к нему в объятия; он задержал на минуту в раздумьи руку, подал и поцеловал ее руку. Он приехал утром. Он сообщил, что он был в Токио, что он уволен из армии и — в наказание — сослан на два года в деревню, ему разрешили отбывать ссылку на родине, в доме своего отца: из этого дома, с этой скалы они не смогут выехать два года. Она была счастлива. Из Токио он привез ей множество кимоно. В этот же день они ходили в участок зарегистрировать брак. Она шла в голубом кимоно, в японской прическе из аржаных волос, — оби — пояс — мешал ей дышать и больно давил на грудь, — от гэта натерлась мозоль на ноге между пальцев: — она стала: Тагаки-нооку-сан — вместо Сони Гнедых. И — единственное, чем она могла отплатить мужу, любимому мужу, — это была не благодарность, а подлинная страсть, тогда, ночью, на полу, в ночных кимоно, когда она отдалась ему, и когда, в передышках от нежности, боли и страсти, бухало приливом внизу море.

#### IV

Осенью все уехали, оставив двоих молодоженов. Ему из Токио присылали ящиками русские, английские и японские книги. Она в своей исповеди почти ничего не пишет о своем времени. И можно представлять, как по осени дуют с океана ветры, гудят скалы, как холодно и одиноко около хибати, домашнего камелька, сидеть двоим — часами, днями, неделями. Она уже научилась приветствовать — «о-ясуми-насай», прощаться — «сайонара», отвечать на благодарности — «до-итасима-ситэ», просить обожждать, пока она позовет мужа, — «чотто-мато-кудасай». В свободном своем времени она узнала, что рис, так же, как хлеб, может вариться многими различнейшими способами и что, как европейцы ничего не понимают в спо-

собах варения риса, точно так же японцы не умеют печь хлеба. А из тех книг, что присылали мужу, она узнала, что Пушкин начинается как раз за программу гимназии и что Пушкин вовсе не умер, как мамонт, но живет, жив и будет жить; от мужа и из книг она узнала, что величайшие в мире литература и раздумье — русские. Время их шло строгим деревенским регламентом, чуть-чуть голодным. Муж утром садился около хибачи на полу за книгами, она варила рис и лепешки, они пили чай, ели соленые сливы и рис без соли. У мужа почти не было потребностей; одним рисом он мог бы быть сытым месяцами, — но она готовила русский обед: утром она ходила в город в лавочки, где удивляло ее очень, что у японцев не продают кур целиком, а отдельно крылья, ноги, спины, кожу. В сумерки они ходили гулять, к морю или в горы, к горному храмику; она привыкла уже ходить в гэта и кланяться соседям так, как кланяются японцы, в пояс, с руками на коленях. Вечерами они сидели над книгами. Многие ночи уходили на страсть: муж был страстен и изощрен в страсти долгою культурою своих предков, культурою, чуждою европейской, когда в первый день их замужества, его мать, бессловесно, ибо у них не было общего языка, подарила ей эротические картинки на шелку, исчерпывающе изображающие половую любовь. Она — любила, уважала и боялась мужа: уважала потому, что он был всемогущ, благороден, молчалив и все знал, — любила и боялась — во имя его страсти, испепеляющей, всеподчиняющей, обессиливающей ее, а не его. Днями, в буднях, муж был молчалив, вежлив, заботлив и чуть-чуть в благородстве строг. В сущности, она мало знала о нем и ничего не знала о его роде: где-то у его отца была фабрика, шелкообрабатывающая. Иногда к мужу приезжали из Токио и Киото друзья, — тогда он просил ее одеваться по-европейски и по-европейски встречать гостей: все же

с гостями они пили саке, японскую водку, глаза их наливались кровью от второй рюмки, они бесконечно говорили и потом, пьяненькие, пели свои песни и уходили в город до утра. — Они жили очень одиноко, холод бесснежной зимы сменялся зноем лета, море бухало внизу приливами и бурями и тишайше голубело в отливы: ее дни не были даже похожи на четки, пусть яшмовые, потому что четки можно пересчитать, перебирая их на нитке, как пересчитывают их европейские и буддийские монахи, но дней своих пересчитать она не смогла бы, пусть эти дни яшмовы.

Здесь можно кончать рассказ — рассказ о том, как создаются рассказы.

Прошли год и еще год и еще. Ссылка его была кончена, но еще год прожили они безвыездно. И вдруг тогда в их тишину множество стало ездить людей. Люди кланялись ей и ее мужу в ноги, люди фотографировали его за книгами и ее около него, люди спрашивали ее о ее впечатлениях о Японии. Ей казалось, что люди на них посыпались, как горох из мешка. Она узнала, что муж ее написал знаменитый роман. Множество показывали ей журналов, где сфотографированы были он и она: в их домике, около домика, на прогулке к храму, на прогулке к морю — она в японском кимоно, она в европейском платье.

Она уже говорила немного по-японски. Она уже приняла роль жены знаменитого писателя, не заметив в себе той перемены, которая приходит таинственно, той перемены, когда она перестала бояться окружающих ее чужих людей и приучилась знать, что эти люди готовы для нее к услугам и вежливости. Но знаменитого романа мужа она не знала, его содержания. Она спрашивала об этом мужа, — в вежливейшей своей молчаливости он не отвечал на этот вопрос: быть может, потому, что, в сущности, это ей было не очень существенным и она позабывала настаивать. Яшмовые четки дней прошли. Бои — лакеи —

теперь варили рис, а в город она ездила на автомобиле, по-японски приказывая шоферу. Отец, когда приезжал, кланялся жене сына почтительнее, чем она. Должно быть, Софья Васильевна была бы очень хорошей женой писателя Тагаки так же, как жена Генриха Гейне, которая спрашивала приятелей Гейне: — «говорят, Анри написал что-то новое?» —

Но Софья Васильевна узнала содержание романа своего мужа. К ним приезжал корреспондент столичной газеты, который говорил по-русски. Он приехал, когда не было мужа. Они пошли гулять к морю. И у моря, в пустяковой беседе, она спросила его, чем объясняет он успех романа ее мужа, и что в романе он считает существенным.

## V

...Вот и все. Тогда, в городе К., достав в консульском архиве автобиографию Софьи Васильевны Гнедых-Тагаки, на другой день я купил роман ее мужа. Мой приятель Такахаси перевел мне его содержание. Эта книга лежит сейчас у меня в Москве. Четвертую главку этого рассказа я написал — не фантазируя, но просто перелагая то, что перевел мне мой приятель Такахаси-сан. Писатель Тагаки каждый день за годы ссылки записывал свои наблюдения за женой, за этой русской, которая не знала, что величие России начинается за программой гимназий и что величие русской культуры — этого отъезжего поля — в умении размышлять. Японская мораль не стыдится обнаженного тела, естественных человеческих отправлениях, полового акта: с клиническими подробностями был написан роман Тагаки-сана, — русским способом размышлять размышлял Тагаки-сан о времени, мыслях и теле своей жены. — Тогда на берегу моря корреспондент столичной газеты в разговорах с Тагаки-но-окусан, с женой знаменитого

писателя — открыл перед ней не зеркало, но философию зеркал, — она увидела себя, зажившую на бумаге, — и не важно, что в романе было клинически описано, как содрогалась она в страсти и расстройстве живота: — страшное — ее страшное — начиналось за этим. Она узнала, что все, вся ее жизнь была материалом для наблюдений, муж шпионил за нею в каждую минуту ее жизни: — с этого начиналось ее страшное, это было жестоким предательством всего, что было у нее. — И она запросилась — через консульство — обратно, домой, во Владивосток. Я внимательно прочитал и перечитал ее автобиографию: вся она была написана и одним человеком и в одно время само собою, — и вот: те части автобиографии этой глуповатой женщины, где неизвестно к чему, описаны детство, гимназия и владивостокское бытие и даже японские дни, — эти части написаны так же беспомощно, как писались письма одной подруги к другой в шестом классе гимназии и во втором благородных институтов, под Чарскую, по принципу классных сочинений, — но последняя часть, там, где подсчитывалось бытие с мужем, — для этого у этой женщины нашлись настоящие большие слова простоты и ясности, как нашлись у нее силы просто и ясно действовать. Она оставила чин жены знаменитого писателя, любовь и трогательность ящмового времени, — и она вернулась во Владивосток к разбитым корытам учительниц первоначальной школы.

## VI

Вот и все.

Она — изжила свою автобиографию; биографию ее написал я — о том, что пройти через смерть гораздо труднее, чем убить человека.

Он — написал прекрасный роман.

Судить людей — не мне. Но мой удел — размышлять: обо всем, — и о том, в частности, как создаются рассказы.

Лиса — бог хитрости и предательства; если дух лисы вселится в человека, род этого человека проклят. Лиса — писательский бог!

Узкое.

5 ноября 1926 г.

---

## СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
«Speranza» . . . . .	5
Рассказ о ключах и глине . . . . .	31
Заволочье . . . . .	69
Большое сердце . . . . .	165
Жених во полночи . . . . .	201
Рассказ о том, как создаются рассказы . . . . .	219

---



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

**БОРИС ПИЛЬНЯК**  
**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ**

ТОМ I  
ГОЛЫЙ ГОД

ТОМ II  
МАШИНЫ И ВОЛКИ

ТОМ III  
ТЫСЯЧА ЛЕТ

Стр. 232.

Ц. в перепл. 2 р. 45 к.

ТОМ IV  
МАТЬ-МАЧЕХА

ТОМ V  
ПРОСТЫЕ РАССКАЗЫ

Стр. 261.

Ц. 2 р. 50 к.

ТОМ VII  
ПОВЕСТИ ВОСТОКА

ТОМ VIII  
ЛИРИЧЕСКИЙ ТОМ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
МОСКВА—ЛЕНИНГРАД

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ  
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ I

ПАРТИЗАНСКИЕ ПОВЕСТИ

Стр. 33.

Ц. в/п. 3 р.

ТОМ II

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ

Стр. 315.

Ц. в/п. 2 р. 75 к.

ТОМ III

СЧАСТЬЕ ЕПИСКОПА ВАЛЕН-  
ТИНА и ДРУГИЕ РАССКАЗЫ

Стр. 283.

Ц. 2 р. 25 к.

ТОМ IV

БЕГСТВУЮЩИЙ ОСТРОВ и ДРУ-  
ГИЕ РАССКАЗЫ

Стр. 234.

Ц. 2 р.

ТОМ V

ГИБЕЛЬ ЖЕЛЕЗНОЙ и ДРУГИЕ  
ПОВЕСТИ

Стр. 300.

Ц. 2 р. 25 к.



1929

ДВА РУБЛЯ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ КОПЕЕК

Переплет 20 коп.